

ЖОРА ХАРАКС

ЧЁРНАЯ
ПАУЗА

ЕГО ГОЛОС СЛЫШАЛИ ВСЕ.
САМОГО ЕГО НЕ ВИДЕЛ НИКТО.

ЖОРА ХАРАКС
ЧЁРНАЯ ПАУЗА

«Автор»

2026

ХАРАКС Ж.

ЧЁРНАЯ ПАУЗА / Ж. ХАРАКС — «Автор», 2026

ЧЁРНАЯ ПАУЗА Исторический детектив. Любовь за сутки до катастрофы. Ялта, сентябрь 1927 года. На вилле, где поэты спорят об искусстве и вечности, убит профессор, исследовавший старинные рукописи. У главного подозреваемого почти невозможное алиби: в момент убийства гости слышали его голос в музыкальном салоне. Но никто не видел самого человека. Пианистка Нина Левина замечает странную паузу в чтении. Поэт Илья Вересов обнаруживает в древней рукописи слова, которых там не должно быть. За загадкой скрываются чужая слава, забытая женщина-композитор и опасная цена исторической подлинности. Илья и Нина знакомы всего сутки. Она мечтает уехать за границу. Он впервые встречает женщину, которую боится потерять. Им предстоит раскрыть убийство и решить, можно ли доверить друг другу свою судьбу. Через несколько часов Ялту разрушит землетрясение. Но сначала рухнет правда, в которую верили все.

© ХАРАКС Ж., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
Музыка из пустой комнаты	5
ГЛАВА 1	10
Шестеро	10
ГЛАВА 2	19
Вторая рука	19
ГЛАВА 3	27
Две минуты	27
ГЛАВА 4	34
Киммерийские вечера	34
ГЛАВА 5	40
Балта-Тиймез	40
Конец ознакомительного фрагмента.	46

ЧЁРНАЯ ПАУЗА

ПРОЛОГ

Музыка из пустой комнаты

11 сентября 1927 года. Ялта. 00:07

В семь минут первого Нина Левина нашла в библиотеке мёртвого профессора Келлера. За минуту до этого она ещё спорила с Домной Павловной, можно ли его беспокоить.

— Откройте дверь, — сказала Нина.

— Вениамин Сергеевич запретил беспокоить до утра, — возразила Домна Павловна.

— Он обещал выйти десять минут назад.

— Вениамин Сергеевич иной раз к обеду обещает, а является к ужину. Учёный человек.

— Я слышала стук. Из библиотеки.

Она действительно слышала глухой стук — ещё до того, как гости стали расходиться. Тогда решила, что в коридоре уронили футляр. Теперь этот звук казался важным; Нина не доверяла такой перемене памяти и повторять о нём не стала.

— Вы уверены? — спросила Домна.

— Нет. Поэтому и прошу открыть.

Они стояли перед библиотекой. Под потолком горела электрическая лампа. Другая, над лестницей, мигала: старый провод возле наружной стены опять разболтался. В большом доме после полуночи электричество было преимуществом перед свечами и постоянным предметом подозрения Домны Павловны. У свечи, по её словам, хотя бы видно, когда она собирается погаснуть.

Нина взялась за ручку. Дверь подалась на вершок и застряла.

— Опять перекосило, — пробормотала Домна. — После июньской тряски все косяки будто напились.

— Помогите.

Они нажали вдвоём. Дверь скребнула о пол и подалась. Нина почувствовала, как от усилия заболело плечо.

Профессор Келлер сидел в кресле у письменного стола.

Она заставила себя посмотреть ещё раз. Профессор сидел боком, опустив подбородок к воротнику. Правой рукой он касался края стола, будто искал очки. На белой сорочке, ниже ключицы, расплзлось тёмное пятно. Один башмак стоял на ковре, другой повернулся носком внутрь. Нина смотрела на башмаки, чтобы не смотреть на кровь: Вениамин Сергеевич был человеком, который и во сне, вероятно, располагал бы обувь параллельно.

— Вениамин Сергеевич! — окликнула Домна.

Ответа не было.

Нина подошла, наклонилась, не коснувшись тела. Лицо профессора потеряло привычную сосредоточенность. Нина не умела определять, жив ли он, и не собиралась угадывать.

— За врачом, — сказала она.

— Да он же...

— За врачом, Домна Павловна.

Домна сделала шаг к креслу, протянула руки: поправить воротник, поднять голову, исполнить привычную человеческую обязанность там, где никто не объяснил, что делать.

— Не трогайте пока, — попросила Нина. — Пусть сначала увидит врач.

— Как же оставить его так?

— Я останусь.

Домна посмотрела на неё с такой благодарностью и неприязнью, какие бывают у людей, вынужденных довериться чужой молодости. Затем крикнула в коридор, чтобы позвали доктора Тихонова из соседнего дома, и побежала сама, не дожидаясь ответа.

Нина оказалась в библиотеке одна.

Из открытой фрамуги доносился ровный шум моря. Со стороны столовой доносились голоса. Гости ещё не знали; они обсуждали стихотворение, прочитанное до полуночи, и какой-то особенно удачный выпад Михаила Долина против новой литературы. Раздался смех. Было невыносимо, что люди способны смеяться в десяти шагах от этого кресла; ещё невыносимее было понимать, что пять минут назад она смеялась вместе с ними.

Она заставила себя смотреть по сторонам.

На столе — стакан воды, едва тронутый, две карандашные стружки, раскрытая музыкальная партитура. У чернильницы белел прямоугольник среди пыли: здесь лежал какой-то плоский предмет, теперь исчезнувший. Нина помнила, как Келлер однажды выравнивал перед ней газетные вырезки, пока она играла: из-за этого пропустил вступление. Теперь всё было сдвинуто, как после неожиданного движения рукой. На ковре возле кресла лежал узкий нож для разрезания бумаги. Нина не знала, был ли он здесь прежде, и не стала к нему подходить. Сейчас один лист свисал со стола, а скреплённая тетрадь раскрылась не на той странице.

Нина знала эту партитуру. За ужином профессор попросил её завтра сыграть несколько тактов. Она отказалась от слова «завтра» только из упрямства: после полуночи завтра уже наступило. Келлер улыбнулся и сказал, что музыканты всегда слишком требовательны ко времени, а историки слишком щедры к нему.

Теперь эта шутка казалась дурной.

Два нотных стана шли один под другим. Над верхним аккуратно значилось «первый голос». Над нижним стояло другое название, перечёркнутое так густо, что бумага выгнулась. Чёрная полоса перечёркивала бумагу так старательно, что в ней уже невозможно было разобрать ни одной буквы.

Нина наклонилась ближе.

Нижняя партия на следующей строке продолжалась. Следовательно, вычеркнули не музыку; вычеркнули имя того, кто должен был её исполнять. Или написал. Это была всего лишь догадка — и Нина разозлилась на себя за желание немедленно превратить догадку в знание.

Под краем стола блеснуло что-то жёлтое. Она присела, не касаясь ковра рукой. На тёмном ворсе лежала жёлтая металлическая пластинка с обломанным краем. Откуда она здесь взялась, Нина не знала. Она запомнила место, не прикоснувшись к находке, и поднялась.

На пороге появился Александр Ратманов.

— Почему открыто? — спросил он.

Вместо приветствия у него вышел вопрос; сам он, кажется, это заметил. Высокий, в тёмном жилете, без пиджака, художник ещё сохранял небрежную нарядность человека, привыкшего быть замеченным даже в чужом доме. Седая прядь свисала к виску. В одной руке он держал незажжённую папиросу.

— Профессору стало плохо. За врачом послали.

Ратманов взглянул мимо неё.

Папироса сломалась у него в пальцах.

— Вениамин Сергеевич... — начал он, но не договорил. — Господи.

Нина вдруг поняла, что не любит смотреть, как человек горюет при свидетелях. Даже если сама была единственным свидетелем.

— Он жив? — спросил Ратманов.

— Не знаю.

Он сделал движение к столу.

— Осторожнее, — сказала Нина. — Мы ничего не трогали.

— Я и не собирался. — Ратманов остановился. — Простите. Здесь... Это же невозможно.

Он только что говорил со мной.

— Когда?

— До чтения.

— Которого чтения?

— Моего, разумеется. — Он моргнул, будто удивился собственной раздражительности.

— Сегодня все обсуждали его. Вернее, уже вчера. Вы слышали.

— Слышала голос.

— Значит, вы помните моё выступление, — сказал он. Попытка улыбнуться закончилась гримасой.

Нина не ответила. Её раздражала красивость этой фразы. Возможно, в другой вечер она нашла бы её остроумной.

В коридоре застучали шаги. В комнату вошла Рахиль Бахарах — без украшений, в простом светлом платье, которое к ночи помялось на локтях. Она остановилась у порога, увидела кресло и ухватилась за косяк. Ни крика, ни обморока не было. Нина подумала, что ей самой хотелось бы так уметь держаться, а потом заметила, как побелели у Рахили губы.

— Домна сказала... — Рахиль не договорила.

— Доктора вызвали, — ответила Нина.

Рахиль перевела взгляд на стол.

— Там были мои бумаги.

— Не подходите, — попросила Нина.

— Я не собираюсь их брать. — Рахиль выпрямилась. — Я только хотела узнать, всё ли на месте.

В этом доме слово «моё» звучало странно. Вилла «Кипарисная» прежде принадлежала отцу Рахили, Соломону Исааковичу Бахараху, торговавшему табаком и ценившему музыку выше многих живых родственников. Потом дом у семьи отобрали, а музыку оставили — вероятно, не сумев определить, к какому ведомству её причислить. Рахиль сохранила маленькую комнату, часть книг и возможность присматривать за семейными бумагами. Слово «моё» она произносила тихо и упрямо.

Ратманов потёр ладонью лицо.

— Рахиль Соломоновна, сейчас не время.

— Для чего?

— Для архива.

Она посмотрела на него.

— Не вам решать, для чего сейчас время.

У лестницы кто-то громко окликнул врача. Домна возвращалась, и весь дом внезапно ожил. Стук дверей, торопливые вопросы, шаги, скрип половиц. Первым из столовой вышел Долин. Он остановился перед библиотекой с недопитым бокалом, увидел Нину и спросил неуместно деловым голосом:

— Прошу прощения, у нас отменяется продолжение?

— Отменяется вечер, — сказала она.

Ему хватило одного взгляда через её плечо, чтобы бокал замер у губ. Долин поставил его на подоконник так осторожно, словно теперь боялся любого звука.

Прибежавший врач попросил всех выйти. Нина назвала ему всё, что видела, и отдельно — жёлтый обломок под столом. Доктор взглянул туда и кивнул без обещания, что запомнит. Она вышла в коридор, где Вера Соколовская уже тихо распоряжалась людьми: открыть окна, принести воды, никого не отпускать из дома до прихода милиции. Голос у Веры был красивый,

низкий, с лёгкой усталой хрипотцой. В нём слышалась женщина, которая пережила достаточно потрясений, чтобы научиться отдавать распоряжения прежде, чем испытывать горе.

— Нина, садитесь, — сказала она.

— Я могу стоять.

— Я не спрашивала.

Нина села на край скамьи. За окном, дальше тёмных кипарисов, мерцал порт. Там кто-то занимался своей работой, кто-то спал, а кто-то готовился уходить в море. Оттого особенно бессмысленным казалось, что в библиотеке внезапно остановилась жизнь одного человека.

Врач вышел из библиотеки с расстёгнутым воротником. Домна Павловна поднялась ему навстречу раньше остальных.

— Ну? — спросила она.

Доктор не стал прикрывать ответ обнадеживающими словами. Он произнёс, что помочь уже нельзя, и попросил сообщить в милицию, если этого ещё не сделали. О причине смерти он говорил осторожно, неохотно; Нина услышала только, что на теле есть повреждение, которое необходимо исследовать.

Домна некоторое время смотрела на его руки. Потом вдруг сказала:

— Он вчера опять ходики чинил. Два часа возился. И ведь заработали.

Доктор не понял. Никто не понял. В доме действительно были маленькие часы над входом в кухню, которые Келлер в свободные минуты ремонтировал с тщательностью человека, не уверенного в точности больших исторических дат, но доверявшего пружинке. Домна боялась, что гости сочтут такую работу неподобающей учёному, и никогда не хвалила его вслух. Теперь ей хотелось похвалить, но адресата уже не было.

— Домна Павловна, — сказала Вера, — вам бы прилечь.

— Я не больная, — ответила Домна. — Мне завтра надо будет объяснять, кто ключи куда положил. И про часы тоже.

Она повернулась к кухне и ушла, будто в доме ещё существовало дело, которое могло исправить всё случившееся.

Юдин, молчавший до этого у окна, снял очки и принялся протирать стёкла совершенно сухим носовым платком. Через минуту он спросил, не нужно ли денег на телеграмму родственникам профессора. Вера ответила, что сначала надо узнать, кому и что сообщать. Кирилл Данилович кивнул и ничего больше не предложил. Он выглядел человеком, у которого нет способа помочь.

Дверь с улицы распахнулась. На пороге стоял молодой мужчина, которого она видела лишь мельком на литературных вечерах. Без шляпы, запыхавшийся, с тонким кожаным портфелем в руке. Лоб его был влажным, вероятно, от быстрого подъёма по дорожке.

— Я к Келлеру, — сказал он. — Меня просили после полуночи. Илья Вересов. Можно? Вера встала так резко, что скамья скрипнула.

— Илья, вы не вовремя.

— Это обычное моё состояние, — ответил он, пытаясь улыбнуться. — Что случилось? Никто не ответил сразу.

Нина не знала, почему именно этот человек показался ей опаснее остальных: возможно, потому, что он ещё не видел того, что видели они, и у него оставались целые несколько секунд прежней жизни.

— Профессор умер, — сказала она.

Илья посмотрел сначала на Веру, потом на закрытую дверь библиотеки. Он не спросил, шутка ли это. Медленно опустил портфель на пол.

— Он написал мне сегодня, — сказал Илья. — Просил прийти. Обещал показать, кто исправил стихотворение.

Нина подняла голову.

— Какое стихотворение?

— Из партитуры. Для двух голосов.

Они встретились взглядами. Нина разглядела усталые глаза и упрямый рот; он, должно быть, умел легко отвечать на неудобные вопросы. Сейчас не находил слов.

За дверью врач говорил с Домной Павловной коротко и негромко. Вера стояла неподвижно.

Из столовой донёсся смущённый кашель. Кто-то попросил выключить свет в музыкальном салоне. Нина услышала просьбу и взглянула на закрытую дверь. Никто не двинулся к выключателю.

— Вы были здесь, когда Ратманов читал? — спросил Илья.

— Я слышала его, — сказала Нина.

— А видели?

Она хотела ответить «конечно». Ещё несколько минут назад ответ казался бы очевидным.

Вместо этого она припомнила дверь салона, свет на полу, чужие лица вокруг стола. Голос Ратманова плыл из соседней комнаты. Самого Ратманова память не показывала.

— Нет, — сказала Нина. — Не видела.

Илья взглянул на закрытую дверь библиотеки.

— Странно, — произнёс он.

Нина поморщилась.

— Что именно?

— Нас в доме собралось столько людей, — ответил он, — а у профессора, кажется, не осталось ни одного свидетеля.

ГЛАВА 1

Шестеро

11 сентября 1927 года. Ялта. После полуночи

Когда приехал Орлов, на вилле успели трижды решить, кто должен сообщить о смерти Келлера, дважды поссориться из-за окон и один раз выпить за здоровье человека, которого уже не было в живых.

Кирилл Данилович Юдин поднял стакан, желая поддержать Домну Павловну, и произнёс привычное «ну, за здоровье». Ошибку заметил слишком поздно. Домна посмотрела на него так, что предприниматель поставил стакан, не пригубив. С минуту после этого все молчали, а потом разговоры возобновились ещё тише. Вера Соколовская распорядилась унести со стола недоеденный виноград. Юдин заметил, что у винограда, к счастью, никаких отношений с профессором не было, но никому не стало легче.

Старший уполномоченный уголовного розыска Степан Орлов пришёл с молодым милиционером и мокрым от ночного воздуха блокнотом. Ему было на вид лет тридцать семь: загорелый лоб, помятый ворот рубахи, известковая пыль на сапогах. Двигался он без спешки, но и чужим растерянными паузам не позволял распоряжаться своим временем. Он быстро посмотрел на лестницу, на выход в сад, на собравшихся людей, словно прежде лиц хотел запомнить устройство дома.

— Кто обнаружил?

— Я, — сказала Нина.

— Не одна, — возразила Домна.

— Хорошо. Обе расскажете. Сначала по порядку. — Он повернулся к молодому милиционеру. — У дверей библиотеки стойте. Пока не придёт следователь, никто внутрь без надобности. И чтобы никто не разошёлся по городу.

— Мы не преступники, — сообщил Михаил Долин.

— Этого я ещё не установил.

Долин дёрнул воротник и отошёл к окну.

Доктор Тихонов, пожилой человек с круглыми очками, успел осмотреть профессора. Орлов выслушал его в стороне. Нина разобрала лишь слова «острый предмет» и «насильственная смерть». Потом Орлов вернулся к гостям.

Нина остановила Орлова, прежде чем он успел раскрыть блокнот. Она рассказала о жёлтой пластинке под столом и показала на схеме, где именно её видела. Орлов попросил милиционера передать это следователю и проследить, чтобы до осмотра в библиотеке ничего не переставляли. Сам он не стал угадывать, от какого предмета отломилась находка.

Когда Минин прибыл для осмотра библиотеки, в присутствии понятых отметили и обычный кабинетный нож для бумаги, лежавший на ковре возле кресла. Записали его положение, осмотрели и убрали отдельно от мелкой металлической накладки. Тихонов подтвердил лишь предварительное наблюдение: повреждение было причинено острым предметом. Сопоставлять рану с найденным ножом на глаз следователь не позволил; требовалось судебно-медицинское исследование.

— Фамилии запишем. Те, кто были за столом в последний час, остаются здесь. Остальные тоже. Но пока мне нужны шестеро.

— Почему шестеро? — спросила Вера.

— Столько человек, как мне сказали, участвовали в вечере. Поправите, если ошибаюсь.

Он назвал их: Вера Соколовская, Александр Ратманов, Михаил Долин, Рахиль Бахарах, Кирилл Юдин, Нина Левина. Профессор, ради которого собрались, теперь находился за закрытой дверью. Домна была хозяйкой распорядка, а не участницей чтений; Орлов намеревался поговорить с ней отдельно. Илья Вересов пришёл уже после обнаружения тела.

— Вы записали нас по алфавиту или по степени подозрительности? — спросил Долин.

— По тому, кто где стоял, когда я вошёл. Другого порядка пока не знаю.

Вера кивнула. Илья с удивлением увидел, что уважает этого человека за сухость, хотя минуту назад был готов ненавидеть всякого, кто вошёл сюда по службе и начал считать живых.

Он по-прежнему держал письмо Келлера. На конверте профессор вывел его фамилию узкими угловатыми буквами, и почерк казался до ужаса живым. «После двенадцати, когда утихнут разговоры. Мне нужна ваша помощь со стихами. Не считайте это капризом старика». Илья знал Вениамина Сергеевича всего четыре месяца и уже успел составить себе суждение о его капризах: они были аккуратны, доказательны и не допускали возражений. От мысли, что не будет больше ни одного каприза, стало так пусто, что пришлось ухватиться за что-нибудь внешнее.

Он ухватился за часы в холле. Стрелка показывала половину первого. Маятник, высокий и недовольный, отмерял секунды с оскорбительным безразличием.

Нина сидела у окна. Тёмные волосы выбились из причёски, на платье осталась тонкая белая полоса — след пыли с библиотечной двери. Прежде Илья видел её только за роялем — лицо над клавишами, затем поклон, затем аплодисменты. Он и не представлял, что она умеет так неподвижно сидеть, удерживая собственные руки. Теперь она держала ладони на коленях так крепко, будто боялась, что руки совершат что-нибудь независимо от неё.

— Вам нехорошо? — спросил он.

— Мне неудобно.

— Это разные вещи?

— Совершенно. Когда нехорошо, можно позвать врача. Когда неудобно, врач обычно советует заняться делом.

Илья сел на другом конце скамьи. Между ними оставалось место для чемодана. Он подумал об этом невольном и тут же рассердился: даже сейчас воображение охотно предлагало багаж вместо мужества.

— Письмо профессора, — сказала Нина, не глядя на него. — Вы можете показать его Орлову?

— Могу. А вы считаете, оно имеет отношение к убийству?

— Я не знаю. Но Келлер собирался говорить с вами о тексте. А умер над партитурой.

— Писатели часто умирают среди бумаг, — сказал Илья. — Правда, обычно от скуки.

Он тотчас пожалел о сказанном. Нина повернулась к нему.

— Не надо.

— Простите.

Она смотрела ещё несколько секунд и отвернулась. Илья начал было оправдываться, но она уже открыла дверь.

◆ ◆ ◆

Орлов разговаривал с гостями по одному в небольшом кабинете рядом с лестницей. Он не называл беседы допросами и не задавал пока вопросов, которые потребовали бы от людей учёности. Его интересовало простое: кто видел профессора, кто выходил из столовой, что слышал и в какой последовательности. На столе у него лежала схема дома, которую на обороте старой афиши нарисовала Домна Павловна. В такой схеме всё было ясно, кроме расстояний, дверей и того, почему человек, проживший тут двадцать лет, нарисовал кухню больше библиотеки.

— На кухне люди бывают чаще, — объяснила Домна, заметив взгляд Орлова.

— Принято. А теперь скажите, что было около полуночи.

— Профессор попросил поставить ему воду, потому как чай от пьесы портит голос.

— Чей голос?

— Я откуда знаю? В этом доме кто-нибудь всё время портит голос или исправляет стихи. Я принесла стакан до одиннадцати, как велено. Потом собирала посуду. Из салона опять кто-то читал, мужчины спорили. Профессор к столовой не выходил.

— Вы знали, что у него в библиотеке две двери?

— Одна к холлу, вторая через галерею. Второй все ходят летом — ближе к воздуху. Теперь тоже ходят, хотя там перекосило раму.

— Кто ходил сегодня?

Домна пожала плечами.

— Врач, когда приходил по поводу сердца у Веры Андреевны. Профессор. Рахиль Соломоновна с нотами. Я. Дом у нас не крепость.

Именно последняя фраза Орлову не понравилась. Он попросил милиционера проверить двери и при этом ничего не трогать без его ведома.

Следующей вошла Вера Соколовская. Она вошла так прямо, будто сама выбирала, в какой комнате и при каких обстоятельствах ей позволено устать. Вера умела начинать беседу так, что собеседник обнаруживал себя отвечающим ей, а не наоборот.

— Вениамин Сергеевич был нашей опорой, Степан Иванович. Без него эти вечера превратятся в обычное литературное чаепитие.

— Я не знаю, чем литературное чаепитие отличается от обычного, — сказал Орлов. — Когда вы видели профессора в последний раз?

— Перед чтением Александра Павловича. Келлер сказал, что вернётся к своим бумагам и выйдет позже. Он был взволнован.

— Чем?

— Научным спором. У нас бывает такое.

— Спорили о чём?

— О том, кто вправе подписывать историю чужим именем.

Орлов поднял карандаш.

— Прошу без образов.

Вера растерялась, но быстро овладела собой.

— О происхождении старой караимской песни. Келлер готовил заключение. Александр Павлович помогал с атрибуцией. И между ними возникло разногласие.

— Серьёзное?

— Они оба серьёзные люди. Это не всегда способствует миру.

Орлов отметил ответ, не выражая удовольствия от остроты.

Рахиль рассказала о партитуре гораздо менее охотно. Она видела профессора примерно за четверть до двенадцати: тот проходил к террасе с бумагами в руке и спросил, можно ли утром ещё раз взглянуть на семейную тетрадь. Рахиль ответила, что покажет только в её присутствии. Потом она помогала Домне на кухне, потому что приглашённая прислуга ушла раньше.

— Вы не доверяли Келлеру? — спросил Орлов.

— Я ему доверяла больше, чем другим. Это не значит, что нужно оставлять у людей чужие документы.

— Ваши?

— Моей семьи.

— Не одно и то же?

— После семнадцатого года — совсем не одно и то же.

Орлов не спорил. Однажды за последний час Рахиль, выходя из кухни, слышала в столовой аплодисменты. Голос чтеца шёл из музыкального салона. Видела ли она Ратманова тогда? Нет. Раньше видела — с папкой в руках, направлялся к салону.

— Какая папка?

— Большая, тёмная. Он всегда складывает туда рисунки, если боится, что их согнут.

Орлов записал, не поднимая глаз. Рахиль не могла знать, что сказала что-то особенное.

Юдин вошёл после неё, успев застегнуть жилет на все пуговицы. Ему было около сорока пяти; он обладал лицом человека, много раз пережившего неприятный разговор с налоговым инспектором и сделавшего из этого вывод, что лучше начинать с любезности.

— Кирилл Данилович Юдин, торгово-издательское дело. Бывший владелец двух лавок, нынешний владелец одной и сомнительного будущего.

— Про будущее потом. Где вы были во время чтения?

— В столовой. Разговаривал с Верой Андреевной о расходах на предстоящее издание. Из музыкального салона шёл голос Александра Павловича. Очень проникновенно. Честно признаюсь, смысл я упустил. Коммерсант привык больше следить за итоговой суммой.

— Вы видели чтеца?

— До того. Он сказал, что хочет несколько минут тишины. Мы и дали. Чего не сделаешь для искусства, если оно просит немного.

— А потом?

— Потом он появился в столовой. Не сразу после окончания, но скоро. Вы хотите знать, сколько секунд?

— Если знаете.

— Не знаю. Мы говорили о бумаге, транспорте и разрешениях. В такие минуты время течёт плохо. Особенно за чей-нибудь счёт.

При слове «разрешения» Юдин невольно поджал губы. Орлов это заметил и задал вопрос, на который Юдин отвечать явно не хотел:

— Какие разрешения?

— Для поездки за границу. Некоторые наши учёные и музыканты собираются выступать, учиться, работать. Я помогаю с деньгами. Всё законно — насколько вообще можно судить о законности вещи до того, как чиновник поставит на неё последнюю печать.

Орлов не стал заниматься поездками. Сейчас его интересовало, где находился профессор в последние минуты жизни. Но имя Юдина и слово «деньги» он записал на отдельном листе.

Долин вошёл без приглашения.

— Я хотел бы прежде всего сказать, что произошедшее используется против всей современной критики.

— Кто использует?

— Пока не знаю. Но тенденция очевидна.

Орлов отложил карандаш.

— Мне нужно установить, где вы были с половины двенадцатого до полуночи.

— Во дворе. Курил. Потом в столовой. Потом опять во дворе.

— Почему дважды?

— У меня вредная привычка, и она, в отличие от литературной, ещё не запрещена.

— Папиросы какие?

— «Ира».

— Кто может подтвердить?

— Сад. Он меня видел. Если требуется свидетель более разговорчивый, придётся подождать до рассвета.

Орлов спросил о Келлере. Долин признал, что спорил с ним накануне из-за публикации, которая могла принести ему имя. Если профессор объявит песню современной, его статья окажется поспешной. Но поспешность, заметил Долин, ещё не влечёт за собой убийства, иначе русская критика давно вымерла бы полностью.

Нина, слушавшая позднее этот пересказ от самого Долина, не смогла решить, дурачится он от страха или старается доказать, что даже смерть профессора не способна помешать ему быть остроумным. Илья подозревал второе. Орлов не высказывался.

Долин, впрочем, сам нашёл Илью возле книжного шкафа в холле. Тот рассматривал на корешках книг знакомые имена; такое занятие спасало от необходимости смотреть на людей.

— Мне передали, что Келлер вызвал вас по поводу текста, — начал критик.

— Он вызвал меня по поводу исправления текста.

— Для вас это огромная разница?

— Для автора — обычно самая большая.

Долин молчал, покусывая губу. Илья с удивлением заметил, что у молодого человека дрожит подбородок, хотя всё остальное лицо сохраняет высокомерие.

— Моя статья должна выйти послезавтра, — сказал Долин наконец. — О старой песне. Я показал Келлеру гранки. Он обещал дать заключение и вдруг перестал отвечать на письма. Я уже взял аванс.

— Сочувствую.

— Не надо мне сочувствовать. Скажите: он написал вам, что статья неверна?

Илья видел, каких усилий стоило Долину спросить. Долин хотел понять, что станет с его статьёй — первой, из-за которой его начали узнавать. Спрашивать о ней здесь было стыдно; промолчать он тоже не мог.

— Келлер не писал мне о вашей статье. Если я что-нибудь узнаю, не стану придумывать за него.

— Простите, — сказал Долин очень тихо.

Он отошёл. Илья хотел позвать его и сказать что-нибудь человеческое, но не нашёл слов, которые не прозвучали бы снисходительно. Тогда он впервые подумал, что насмешливый критик, вероятно, и сам не знает, как попросить о помощи, не унижившись.

Нина рассказывала последней из тех, кого Орлов успел опросить до Ратманова. Он не попросил её снова описывать лицо мёртвого и не перебивал, когда она говорила о заедавшей двери.

— Она не была заперта? — уточнил он.

— Нет. Заедала на полу. Мы нажали, она открылась. Я это хорошо помню.

— Вторую дверь проверяли?

— Я не заметила, была ли она открыта. Если честно, я заметила очень мало из того, что теперь кажется важным.

— Это обычное дело. — Орлов показал ей карандаш. — Когда человек говорит «не заметил», я записываю именно это. К утру ему часто начинают казаться известными подробности, которых он и видеть не мог.

Нина сообщила о нотах на столе и жёлтой частице под ним. Орлов не стал торопиться с объяснениями. Он спросил, откуда она знает, что тетрадь была раскрыта именно на исправленном месте.

— Я читаю ноты быстрее, чем заголовки. Профессор держал лист на подставке, чтобы показать мне. Он хотел, чтобы я сыграла обе партии по отдельности. Я услышала от него только: «Ищите не красоту, ищите вторую руку».

— Это выражение имеет специальный музыкальный смысл?

— Нет. Он мог говорить о переписчике. Или об авторе исправлений. Я решила, что о втором. Но теперь не уверена.

Орлов записал выражение дословно.

— Если вы в чём-то не уверены, оставьте это мне. Я человек казённый, мне положено собирать чужую неуверенность по ведомости.

Нина не улыбнулась. Ей впервые стало ясно, что профессор умер, не успев объяснить не только большую историческую загадку, но и совершенно обыкновенную фразу. После этого любое аккуратное «я имел в виду» представлялось ей удивительной роскошью.

Последним из шестерых вошёл Ратманов.

Он был без жилета, в тёмном пиджаке и с перевязанным платком указательным пальцем. Платок чистый, как будто палец перевязали заранее. Орлов заметил его сразу, но сначала спросил о голосе.

— Вы читали стихи в музыкальном салоне незадолго до полуночи?

— Немного позже. Все просили, я уступил. Художник в литературном кружке всегда считается не очень опасным стихотворцем.

— Кто видел, как вы читали?

Ратманов улыбнулся, словно вопрос был игрой.

— Простите, не понимаю. Меня слышали все.

— Я спрашиваю, кто видел.

— Кто стоял у двери, вероятно, видел. Впрочем, я просил не входить, пока читаю. У меня небольшой опыт выступлений. Чужие лица сбивают.

— Дверь была закрыта?

— Прикрыта. В доме жарко.

— Вы оставались в салоне всё время?

— Разумеется.

— До конца чтения?

— Да.

— Потом куда пошли?

— В столовую. Меня поздравляли, хотя я не уверен, что заслужил.

— А профессор?

Улыбка исчезла. Ратманов заговорил медленнее.

— До чтения я видел, как он проходил в библиотеку. Он был недоволен моей работой, не скрываю. У учёных есть неприятное свойство принимать предположения за право распоряжаться людьми. Я собирался поговорить с ним завтра.

— С чем связана ваша повязка?

— Порезался ножом для бумаги. Пустяк.

— Когда?

— Вечером, когда распечатывал пакет с рисунками. Возможно, около одиннадцати. Вы же не станете утверждать, что в этом доме меня одного подстерегают канцелярские принадлежности?

Орлов посмотрел на пальцы художника, затем спросил, где лежит пакет. Ратманов назвал мастерскую во флигеле.

— Мне понадобится посмотреть, — сказал Орлов.

— Разумеется. Только там холсты, их можно испортить неосторожным движением.

— Будем осторожны.

Ратманов взглянул на него внимательнее. Художник привык вести разговор по собственному рисунку. Орлов ни разу не позволил ему переставить фигуры.

Когда Ратманов вышел, Орлов попросил милиционера проводить его в столовую, а сам раскрыл домнин чертёж. Двери были нарисованы кривовато, но все выходили туда, куда должны были. Одна вела из музыкального салона в холл. Другая — к боковой галерее; оттуда до библиотечных дверей оставалось совсем немного. Он не отметил путь красной линией, не обвёл имя подозреваемого. Вместо этого написал на полях: «Проверить проходимость. Не восстанавливать время по памяти гостей».

Снаружи донёсся голос Юдина. Предприниматель остановил Веру у лестницы.

— Я не для того держу деньги в бумажках, чтобы они сегодня выясняли отношения, — говорил он негромко. — Но вы обещали, что к вечеру будет окончательное описание партитуры. Завтра я должен дать ответ людям.

— Сегодня умер Вениамин Сергеевич.

— Я знаю. И он умер не от моей настойчивости. Вы ведь тоже обещали тем людям, что не бросите их, если возникнут трудности.

— Не здесь, Кирилл Данилович.

— А где? В конторе до закрытия я торговец. На этой лестнице — благотворитель. Дайте хоть где-нибудь побыть человеком, которому объясняют правду.

Орлов слышал только часть разговора, но ему хватило, чтобы понять: у профессора оставались дела, которые не закончились вместе с вечером. Он записал, какие бумаги могли переходить из рук в руки, и не стал вмешиваться. За столом продолжали разговаривать.

◆ ◆ ◆

К двум часам в доме стали различать два времени. Одно показывали часы: минуты после полуночи, очень медленные и совершенно обычные. Другое оставалось у каждого в памяти: до того, как открыли библиотеку, и после.

Вера пыталась послать за тёплыми платками. Домна отказывалась уступить кому-либо хозяйство и одновременно жаловалась, что ей одной приходится заботиться о живых. Юдин попросил телеграфный бланк, потом порвал его не исписав. Долин дважды подходил к выходу в сад и оба раза возвращался, встретив взгляд милиционера.

Илью Орлов пригласил отдельно. Прочёл письмо Келлера, переписал дату и спросил, почему тот назначил встречу так поздно.

— Профессор не любил свидетелей, когда обсуждал чужую рукопись, — ответил Илья. — Он сказал, что речь идёт об исправлении, которое изменит атрибуцию стихотворения. Я должен был посмотреть на текст после вечера, когда гости разойдутся. Я задержался, потому что работал над корректурой в городской типографии. Пришёл к назначенному времени.

— Вас видели по дороге?

— Печатник, если не уснул над станком. И человек, который продал мне воду у пристани. Но я не запомнил его лица.

— Люди редко запоминают, когда им не обещают неприятностей, — сказал Орлов. — Проверим типографию.

— Вы думаете, я мог прийти раньше?

— Пока думаю, что не знаю, кто куда приходил. Это удобнее, чем ошибиться.

Илья хотел возразить. Потом вспомнил собственную привычку строить вывод уже в заглавии стихотворения и промолчал.

— Профессор доверял Ратманову? — спросил Орлов.

— Как эксперту — кажется, да. Как человеку — не знаю. Он не делился со мной такими наблюдениями.

— А вы?

— Я опасался его картин.

— Почему?

— На них люди всегда знают, что означают. В жизни такого не бывает.

Орлов внимательно посмотрел на него.

— Для протокола это слабовато.

— Я и не предлагаю для протокола.

они почти улыбнулись друг другу.

Когда Илья вышел, Нина ждала у двери с пустым стаканом. Не то чтобы ждала его: просто оказалась там, когда он вышел. Илья успел уверить себя в этом, прежде чем она заговорила.

— Он спросил, чем отличается услышанное от увиденного?

— Спросил, откуда я пришёл и почему живу в мире литературных исправлений.

— Второй вопрос разумный.

— Спасибо. Я собираюсь завести на вас папку с отзывами. Для потомков.

Она слегка улыбнулась. Улыбка была короткой; он едва успел её увидеть.

— Вы когда-нибудь играли вслепую? — спросила она.

— На каком инструменте?

— На любом.

— Я плохо играю даже зрячим.

— У музыканта бывает упражнение: воспроизвести фразу, не глядя на руки. Слух подсказывает, что всё верно, пока пальцы не уедут на соседнюю клавишу. Слух — не враг. Просто он отвечает на другой вопрос.

— А мы спрашиваем, где стоял Ратманов, пока слышали его стихи.

— Именно.

Из музыкального салона до них донёсся сухой щелчок: молодой милиционер, проверявший двери, случайно задел стойку для пластинок. Нина вздрогнула.

— Вы слышали у Ратманова что-нибудь необычное? — спросил Илья.

— Паузу.

— Поэты любят паузы. Им кажется, что мысль продолжается, даже когда они молчат.

— Не ту. Он вдруг остановился перед последней строкой, хотя по смыслу остановка должна была быть в другом месте. И после этой остановки голос вошёл точно так же, как до неё. Без нового дыхания.

— Может быть, он выучил текст.

— Может быть, — согласилась Нина.

Илья удивился. До сих пор она спорила с ним при всякой возможности.

— Вы не будете убеждать меня, что это важно?

— Я сказала вам, что услышала. Насколько это важно, пока не знаю.

Он почувствовал к ней что-то вроде благодарности. В доме, где за час каждый успел обзавестись версией случившегося, это «не знаю» прозвучало редким человеческим достоинством.

В дверях появилась Вера. Она взглянула на них обоих, и её лицо чуть смягчилось.

— Илья, мне нужна ваша помощь. Молодой человек, которому веришь, должен иногда приносить пользу не только литературе.

Нина отвернулась. Илья уже сделал шаг к Вере, но остановился.

— Одну минуту, Вера Андреевна.

Он повернулся к Нине.

— Вы говорили, что профессор оставил партитуру открытой. Вы её видели до сегодняшней ночи?

— Видела другую редакцию. Эту — только у Келлера.

— Значит, нам надо сравнить два текста.

— Да. Но без разрешения следователя мы к бумагам не подойдём.

— Я не собираюсь красть партитуру, — сказал он. — Я поэт, а не коллекционер.

— Это не всегда разные профессии.

Она произнесла это совершенно серьёзно. Илья неожиданно рассмеялся, слишком громко. Вера нахмурилась. Он осёкся, вспомнив, за какой дверью остался Келлер. Нина только посмотрела на него: ей самой на мгновение захотелось забыть о библиотеке. Илье стало легче — и стыдно за облегчение.

Вера увела его к лестнице. Нина осталась у окна, где в ночном стекле отражались две электрические лампы. Город внизу не спал окончательно: где-то далеко хлопнула ставня, протянул гудок корабль, от санатория к порту спускался автомобиль с единственной неяркой фарой.

Нина вспомнила чтение Ратманова. Голос был знакомый, слегка носовой, с нарочито печальным подъёмом на последней строке. Он звучал за стеной так отчётливо, что ей и в голову не пришло спросить, находится ли сам чтец возле звука.

Нина взглянула на закрытую дверь салона.

В комнате, где недавно умер человек, никто не видел Александра Ратманова в те минуты, когда слышал его голос.

И если голос не доказывал присутствия, оставался другой вопрос: что же тогда доказывало, где он был?

ГЛАВА 2

Вторая рука

11 сентября 1927 года. Перед рассветом

После трёх часов ночи всем захотелось говорить тише, но никто не захотел спать. Все подчинились непривычному порядку: не хлопали дверьми, осторожно ставили чашки, спрашивали разрешения перейти из комнаты в комнату. Люди, ещё недавно спорившие о свободе творчества, теперь покорно отмечались у милиционера, если собирались выйти в сад.

Илья обнаружил, что голоден. За ужином он не был, по дороге на виллу не успел ничего съесть, и застыдился голода. Впрочем, он всё-таки пошёл на кухню.

В кухне Домна Павловна держала миску с холодными пирожками. Увидев его, немедленно накрыла миску полотенцем.

— Там погребальный дом, а вы в еду смотрите.

— В еду, Домна Павловна, смотрит мой желудок. Я совершенно против.

Она покачала головой, достала пирожок и положила ему на блюдце.

— С капустой. С мясом не осталось. И не болтайте возле лестницы.

— Я могу есть молча. Иногда получается даже писать.

Домна фыркнула. Не смех, но его близкий родственник.

Илья откусил пирожок и тут же почувствовал стыд, не похожий на голод. На соседней стене висело вышитое полотенце — два красных петуха у колодца. Келлер, наверное, видел его сотни раз, но никогда не обращал внимания. Вышитые петухи у колодца пережили профессора. Илья уже подыскивал этому сравнение, когда вдруг понял, что никогда больше не услышит, как Келлер поправит его неудачную строку. Пирожок перестал лезть в горло.

— Она у меня спрашивала чай, — сказала Домна.

— Кто?

— Нина ваша.

— Она не моя.

— А я и не говорю, что ваша. Говорю, что у меня спрашивала.

Домна извлекла из печки чайник и вручила Илье. На ручке была тряпка, завязанная узлом.

— Кипяток. Осторожно. Ступите к ней и скажите: пока не поест, из-за стола не выпущу. У меня самой ноги отваливаются, а она всё со своими нотами.

— А что она делает с нотами?

— То же, что вы с буквами. Портит бумагу.

Нина сидела в малой гостиной, где днём обычно принимали людей, не предназначенных для большого салона. На круглом столике перед ней лежали две тетради: одна нотная, другая с русским текстом. В углу темнел небольшой рояль, закрытый крышкой. Через окно виднелись лестница в сад и полоска моря. На подоконнике кто-то оставил засохшую ветку лавра; от неё шёл горький запах.

— Домна велела накормить вас, — сказал Илья.

Нина не подняла головы.

— Так и передайте, что я благодарна.

— Боюсь, без вещественного доказательства благодарность не примут.

Он поставил чайник и блюдце. Увидел, что её руки лежат на нотной странице неподвижно, а мизинец правой чуть подрагивает.

— Холодно?

— Нет. Просто руки не совсем согласны со мной.

— Бывает. Моя правая рука обычно согласна со всем, что я пишу. Левая потом стыдится.

Она наконец подняла взгляд. Печаль не исчезла, но в глазах на миг появилось нечто похожее на любопытство.

— Вы всегда шутите, когда не знаете, что сказать?

— Почти всегда. В детстве я от этого получил несколько воспитательных мер.

— Помогло?

— Как видите.

Нина подвинула к нему нотную тетрадь.

— Это мне дали на репетицию за неделю до вечера. На обложке написано «Два голоса». Рукопись поздняя, без указания имени композитора. Я просила у Рахили разрешения посмотреть другую редакцию, но мы всё откладывали. А профессор сегодня собирался объяснить, почему они различаются.

— Значит, он вас тоже вызвал?

— Нет. Я была здесь по приглашению Веры Андреевны. Сыграла на вечере, осталась на чтение. Келлер сказал, что после ужина принесёт поправки. Теперь понимаю, почему не успел.

Илья осторожно взял вторую тетрадь. Она была переписана на простой бумаге, местами виднелись карандашные пометы чужой рукой.

— А стихи?

— Текст прилагался. Я не знаю, кто его переписывал. Мне нужна музыка, а не происхождение чернил.

— Это довольно дерзкий взгляд на профессию поэта.

— У вас есть право ответить: вам нужна рифма, а не происхождение звука.

Он улыбнулся, но тут же увидел на странице знакомую строку.

«Когда отступит море от ступеней,
останется тепло твоей руки».

Илья прочёл её дважды. Слова были почти те, которые он знал по старой публикации Веры Соколовской. Почти — самое коварное наречие во всей филологии.

— У меня дома есть номер «Прибоя» с другим вариантом, — сказал он. — Она напечатала: «останется тепло чужой руки».

— И что меняется?

— Всё зависит от того, кому принадлежит рука. «Чужой» — это память о человеке, которого уже не вернуть. «Твоей» — почти признание. Вера Андреевна умела писать так, чтобы все читали о себе, хотя писала не для всех.

— Для исполнения это два разных движения, — ответила Нина. — «Чужой» отстраняет фразу. «Твоей» заставляет её подойти ближе к слушателю.

Она тихо произнесла оба варианта, не напевая мелодии. Илья удивился, насколько заметно изменился смысл строки, когда её сказала не он.

— Профессор утверждал, что эта песня старше стихотворения, — вспомнила Нина. — Так, по крайней мере, говорилось на прошлом вечере.

— Если обе вещи похожи, разве не естественнее предположить, что стихотворение писали по старой мелодии?

— Естественнее для кого? — Нина подвинула к себе нотную бумагу. — Вы смотрите на слова. Я вижу, что в одном месте мелодия подстроена под ударение русской строки. Причём не особенно удачно.

— Может быть, неизвестный древний композитор плохо владел русским стихосложением.

— Тогда мы должны допустить, что ему были известны стихи Веры Соколовской. Иначе ваша гипотеза теряет часть очарования.

— Очарование для гипотезы — не главное достоинство.

— Наконец-то мы с вами согласились.

Они оба замолчали. В другом доме в такой момент начался бы разговор о молодости и литературе. Здесь за стеной умер профессор, и всякий переход к обыкновенной жизни казался чем-то вроде предательства. И всё же Илье неожиданно хотелось узнать о Нине то, что не относилось к делу: любит ли она ходить к морю утром, умеет ли сердиться без слов, почему отводит глаза, когда ей говорят спасибо. Он рассердился на себя за несвоевременное любопытство.

Нина заметила взгляд.

— Что?

— Я хотел спросить, долго ли вы занимаетесь этой партитурой.

— Хотели или решили спросить?

— Теперь уже решил.

— Семь дней. Я должна была сыграть её вместе с певицей, которую Вера Андреевна обещала привезти к концу месяца. Но, кажется, ничего не состоится.

— Из-за убийства?

— Из-за жизни. С убийством иногда легче: оно хотя бы случилось в определённый час.

Она произнесла это резко и сразу пожалела. Ильа не стал расспрашивать. Вместо этого отломил половину пирожка и положил на свободное блюдо.

— Домна велела съесть. Я выполняю распоряжения, но у меня плохая репутация.

— Это пирожок в качестве взятки?

— В качестве вещественного доказательства моей благонадёжности.

— А ваша благонадёжность подтверждается чем-нибудь, кроме капусты?

— Кроме неё — ничем, что прошло бы у Орлова по делу.

Нина доела и вынула из папки небольшой лист, расчерченный на два столбца. В левом были выписаны строки стихотворения, в правом — названия музыкальных разделов. Возле двух строк она поставила карандашом крохотные черточки.

— Смотрите. Переписчик оставил ударение не в том месте. Ничего преступного: певцы иногда приспособливают чужие слова к готовой музыке. Но если Келлер хотел сравнить именно эти варианты, ему было важно, что появилось раньше.

— Чтобы определить, кому принадлежит исправление?

— Хотя бы для этого. Мне уже приходилось играть музыку, в которой прежний исполнитель так старательно исправил все чужие пометы, что невозможно было понять, где кончается композитор и начинается его собственная привычка. Издатель потом называл всё это «авторской волей».

— Словосочетание удобное, — сказал Ильа. — Автор умер или уехал — и его воля немедленно становится собственностью издателя.

— Не хочу, чтобы мы так поступили с Келлером. Он собирался что-то сказать и не успел. Если мы начнём договаривать за него, ошибка будет уже наша.

Ильа отложил исписанный лист. Нина произнесла это тихо. Ильа отвёл взгляд к профессорскому письму: на полях стояли две его собственные, торопливо сделанные пометы.

Нина взяла половину. Ела медленно. К концу чая пальцы уже не дрожали; Ильа сделал вид, что не заметил.

◆ ◆ ◆

В соседней комнате захлопнулась оконная створка. Нина поднялась, чтобы прикрыть дверь, и машинально потянула плечо. Ильа заметил это движение: его делали люди, которым пришлось долго сидеть над работой и которые не хотели, чтобы кто-нибудь замечал усталость.

— Вы даёте уроки? — спросил он.

— В санатории иногда аккомпанирую. Ещё учу двух девочек. Одна хочет играть Шопена, другая — чтобы её наконец оставили в покое. Со второй получается честнее.

— А концерты?

— Концерты любят тех, у кого есть время готовиться. В Москве я однажды вышла на сцену и поняла, что полгода играла слишком мало и слишком много работала. Публика решила, что мне просто не повезло. Я предпочла бы такое объяснение. Но дело было во мне.

Она не жаловалась. Илья понял, что рассказы о её «неудаче» лишали её не только денег и возможности выступать, но и права гордиться достигнутым. Она вовсе не хотела забыть случившееся. Хотела получить ещё одну попытку, которую придётся заслужить.

— Вы после этого продолжили играть? — спросил он.

— А что ещё делать? Можно перестать выступать. Но как перестать слышать музыку, если она уже есть в голове?

— Я однажды сжёг сорок страниц стихов.

— Помогло?

— Несколько дней чувствовал себя свободным. На четвёртый написал хуже.

Она посмотрела на него серьёзно, без снисхождения.

— Значит, мы оба не научились удачно бросать работу.

С лестницы послышались шаги Веры. Разговор оборвался. Илья пожалел, что разговор оборвался. Ему не хотелось немедленно записать услышанное; хотелось дослушать.

Вера пришла в малую гостиную без стука, как человек, для которого привычка быть желанным гостем давно заменила необходимость спрашивать разрешения.

— Вот где вы оба, — сказала она. — Хорошо. Я ищу бумаги Вениамина Сергеевича, которые он вчера брал у Нины. Рахиль беспокоится, что их могут перепутать с её семейной тетрадью.

— Документы опечатаны? — спросил Илья.

— Орлов распорядился ничего не выносить из библиотеки до приезда следователя. Мне, конечно, понятно, почему. Но он не знает, что это за материалы. Там есть вещи, которым вреден даже неосторожный воздух.

— Сегодня им вреднее чьи-нибудь руки, — сказала Нина.

Вера посмотрела на неё с едва заметным удивлением. До сих пор молодая пианистка была для неё человеком вежливым, способным без жалоб разучить трудную вещь и не мешать старшим вести свои разговоры. Теперь этот человек возражал.

— Нина, вы устали. Я понимаю.

— Устала. Но бумаги от этого не стали менее важными для следствия.

— Я хочу только сохранить их.

— Я тоже. Поэтому не стану их трогать.

Вера подошла к столу. Увидела разложенные копии.

— Вы уже смотрите варианты? Какая настойчивость. Даже смерть не может помешать филологу заняться исправлениями.

— Профессор хотел объяснить нам эти исправления, — сказал Илья. — Мы не можем спросить его, но можем проверить, о чём он собирался говорить.

— А если он ошибался?

— Тогда надо будет установить, в чём.

Вера задержала на нём взгляд.

— Вы всегда так уверены в полезности истины, Илья?

Он почувствовал знакомый холод. Именно этим голосом она когда-то сказала ему, что его первый сборник не следует печатать: «Вам ещё рано становиться памятником себе». Тогда он обиделся и через год признал её правоту. За это и любил, и боялся её.

— Не всегда, — ответил он. — Но сейчас выбор у нас небольшой.

— Выбор всегда есть. Иногда стоит не произносить его вслух.

Она отодвинулась от стола, не касаясь листов.

— Кирилл Данилович ищет меня. У него завтра дела, которые после сегодняшней ночи могут расстроиться. У всех могут. Прошу вас не торопиться с догадками.

Вера вышла.

— Она вас любит, — сказала Нина.

Илья даже не посмотрел ей вслед.

— Она делает вид, что я ещё не закончен. Иногда мне кажется, это самая надёжная форма любви.

— А вам нравится быть незаконченным?

— Как всякому, кто боится, что законченная вещь окажется плохой.

— У пианиста такого права нет, — сказала Нина. — Выходишь к роялю, и уже поздно объявлять себя черновиком.

Нина не улыбалась. Илья уже открыл рот, чтобы расспросить её, но она придвинула к себе ноты. Он вернулся к своей странице.

— Мне говорили, что вы выступали в Москве, — осторожно сказал он.

— Один раз. Давно.

— Я не спрашиваю почему.

— Спасибо.

Она снова склонилась над нотами. Он вернулся к рукописи. Прочёл одну строку и снова взглянул на Нину; она не подняла головы.

◆ ◆ ◆

Чуть позже Веры появилась Рахиль. На плечах у неё был серый платок, поверх платья накинутый без всякой заботы о виде. Она принесла второй, тонкий, в тёмную клетку, и протянула Нине.

— У нас на террасах ночью холоднее, чем кажется из столовой.

— Спасибо, я не замёрзла.

— Я тоже не замёрзла. Поэтому отдаю.

Нина приняла платок. На его краю аккуратными нитками было вышито «М. Б.». Она рассмотрела буквы, но не спросила, кому они принадлежали. Рахиль заметила взгляд.

— Старый. В доме остались вещи, которым теперь не находится хозяев.

— И не нужно находить им новых по вашему желанию, — сказала Нина. — Я верну утром.

— Когда сможете.

Рахиль увидела раскрытую нотную тетрадь и замедлила шаг. На мгновение Нине показалось, что сейчас её попросят спрятать бумаги: слишком многое в этом доме держалось на старой привычке не показывать посторонним семейных записей.

— Вы смотрите только свою копию? — спросила Рахиль.

— Только ту, что получила от Веры Андреевны неделю назад.

— Хорошо. Тогда мне нечего запрещать. Простите, что спросила.

— Вам не за что просить прощения.

— Теперь, — ответила Рахиль, — я бы предпочла во всём извиняться заранее. Но на это жизни не хватит.

Илья хотел пошутить, но не нашёл в себе права. Рахиль вышла, оставив за собой лёгкий запах сухой травы от платка.

— Вы заметили её буквы? — спросил он.

— Заметила.

— И не спросили?

— Она сама решит, рассказывать ли. Вам-то почему не всё равно?

Илья задумался. Прежде он, вероятно, спросил бы: как зовут, когда жила, что случилось, можно ли прочесть письма. Сейчас впервые уловил, что любопытство не всегда даёт право на ответ.

Ближе к четырём часам Орлов вошёл в малую гостиную и остановился на пороге. Он заметил чашки, тетради и усталые лица.

— Чужие бумаги здесь есть?

— Только те, что были у нас до происшествия, — ответила Нина. — Копии для репетиции. Могу показать, откуда получила.

Она достала из чехла аккуратно сложенную записку Веры: «Нине Левиной для чтения и репетиции. Вернуть после вечера». Дата стояла недельной давности. Орлов осмотрел её и вернул.

— Не переписывайте с оригиналов, которые сейчас в библиотеке. Всё, что у вас уже было, опишите мне отдельно.

— Мы нашли разницу в словах, — сказал Илья. — Возможно, профессор хотел, чтобы я её увидел.

— Разницу между чем и чем?

Илья показал два варианта строки. Орлов выслушал молча.

— «Чужой» и «твоей». Это важно для стихотворения?

— Очень.

— Для убийства?

— Пока не знаю.

Орлов кивнул.

— Тогда так и запишем. Если бы все в этом доме отличали одно от другого, я бы уже отправился домой.

Илья искоса посмотрел на Нину. Она с трудом удержала улыбку.

— Вы слышали что-нибудь о ночном выступлении Ратманова, кроме того, что рассказывали мне? — спросил Орлов у Нины.

— Только то, что я сама слышала. Было вступление, затем он читал. Примерно в середине я вышла из столовой взять ноты. Я шла по коридору, голос звучал за дверью салона. Последняя строка пришлась на момент, когда я уже возвращалась.

— Вы входили в салон?

— Нет. Он просил не входить.

— Вы видели кого-либо в галерее?

— Кажется, нет. Но я тогда не смотрела. Думала, что он читает.

— Вспомните не сейчас, на заказ. Вспомните к утру. И не обсуждайте это с остальными.

Чужая уверенность иногда заражает.

Он собирался уходить, но задержался возле рояля.

— Струны старые?

— Средние, — ответила Нина, удивившись вопросу. — Почему?

— Просто интересуюсь. У моей сестры фортепиано. В нём одна клавиша всё время западает. Она говорит, что виноват я: в детстве пытался сыграть марш одной рукой.

Нина улыбнулась Орлову.

— Скорее виновата механика. Но при следующем удобном случае попросите её не бить по клавише сильнее.

— Просил. Она утверждает, что это её способ разговаривать с инструментом.

Орлов ушёл. За ним снова затихли шаги на лестнице. Илья проводил взглядом дверь.

— Хороший человек, — сказал он.

— Откуда вы знаете?

— Он помнит о сестре, даже когда работает ночью. По-моему, это довольно серьёзное свидетельство.

— Он, кстати, вас пока не оправдал.

— Вы умеете испортить чужое хорошее мнение своевременно.

— Это моё второе профессиональное качество.

— А первое?

Нина посмотрела на клавиши под закрытой крышкой.

— Я слышу, когда человек играет не то, что хотел.

— Тогда со мной вам придётся нелегко. Я и говорю иногда не то, что хотел.

— Вы хотя бы замечаете это позже.

Она осторожно приподняла крышку рояля. Илья подумал, что сейчас она начнёт играть, и обрадовался прежде, чем успел спросить почему. Но Нина лишь приложила два пальца к белым клавишам, не нажимая. Не музыкант, а человек проверял, слушаются ли его руки.

— Вы боитесь их потерять? — спросил он.

Она вздрогнула.

— Что вы сказали?

— Руки. Вы смотрели на них за столом так, словно они вас подвели.

Нина закрыла крышку.

— У меня был перерыв. Долгий. Потом я снова начала заниматься. Сейчас появился шанс продолжить учёбу и выступить. Не здесь.

— В Москве?

— Ещё дальше.

Ему захотелось немедленно узнать куда, с кем и на сколько. Он не спросил.

— Хорошо, что появился шанс, — сказал он.

— Неизвестно, появился ли. Есть разговоры, письма, обещания помочь с документами. Я стараюсь не путать это с билетами.

— Мудрая осторожность для человека, который час назад потребовал открыть дверь профессора, хотя все просили ждать.

— Одна дверь была передо мной. Другая пока на другом берегу моря.

Илья подумал, что такую фразу непременно украл бы для стихотворения, если бы у неё не было живого владельца.

— Мне кажется, вы хотите уехать, — сказал он.

— Да.

Это короткое «да» прозвучало без вызова и без просьбы о разрешении. Он отвернулся к окну. Прежде её ответ ничего бы не изменил; теперь ему отчего-то понадобилась лишняя секунда, чтобы снова заговорить.

— А вы? — спросила Нина.

— Я всё откладываю поездку дальше Алушты. Боюсь, если мир окажется больше моих стихов, придётся отказаться от некоторых метафор.

— Мир уже больше ваших стихов.

— Вы жестоки.

— Просто я была в Москве.

Она засмеялась. На этот раз легко и тихо. Илья увидел, каким становится её лицо без усилия держаться. Несколько секунд ему казалось, что в доме снова возможны обычные вещи: музыка, разговор, утро. Потом из коридора донёсся чей-то кашель, и всё вернулось на место.

Нина вынула из папки чистый лист и переписала две строки, «чужой» и «твоей», одну под другой. Рука ещё была чуть напряжена, но почерк получился ровным.

— Давайте сделаем по-честному, — сказала она. — Вы проверяете, когда и в каком виде напечатаны слова. Я проверю, какие изменения появились в музыкальном тексте. Ни вы, ни я не должны знать заранее, что найдёт другой.

— Чтобы друг друга не уговорить?

— Чтобы потом было чему верить.

Он протянул руку за листом. Нина придержала угол. Их пальцы соприкоснулись. Они замерли, будто любое следующее движение могло испортить только что возникшее доверие.

— Вы отдаёте? — спросил Илья.

— Да. Только не помните лист.

— Я постараюсь. Мне уже объяснили, что с бумагами здесь обращаются лучше, чем с людьми.

— Пока не очень успешно.

Нина отпустила страницу, и их руки разошлись.

Они договорились встретиться после рассвета, когда Орлов позволит вернуться к работе. Илья взял папку со своими выписками и встал. Ему хотелось остаться ещё, но теперь он боялся испортить этот разговор каким-нибудь своевременным словом.

— Илья, — сказала Нина, когда он дошёл до двери.

Он обернулся.

— Если у вас дома действительно есть тот журнал, принесите его. Не пересказывайте по памяти.

— Бойтесь, что я украшу цитату?

— Боюсь, что вы начнёте её любить сильнее, чем она того заслуживает.

Он поклонился чуть ниже, чем следовало, и вышел. Нина осталась одна.

За окном море было всё ещё чёрным. На востоке не светлело, хотя часы утверждали, что утро приближается. В доме, где умер профессор, настенные часы теперь вызывали недоверие: сколько бы они ни отмерили минут, невозможно было вернуться ко вчерашнему вечеру и попросить человека не идти в библиотеку.

Нина снова раскрыла тетрадь. В одной из партий между двумя нотами стояла короткая остановка, обозначенная аккуратным знаком. Исполнитель должен был на мгновение задержать дыхание, а затем продолжить. Такую паузу иногда играли торопливо, боясь потерять движение. Нина всю жизнь училась не бояться тишины.

На листе рядом лежали два слова: «чужой» и «твоей».

Она попыталась мысленно произнести строку так, как сказал её Илья. Не вышло. Голос у него был другой. И паузу он делал не там.

Нина закрыла тетрадь.

Ей было страшно за то, что происходило в доме. За себя, за Рахиль, даже за Веру, которая держалась так, словно от её осанки зависела прочность стен. Но теперь к этому страху добавилось нечто непривычное и совершенно несвоевременное: ожидание утра, когда придёт человек с журналом и снова начнёт спорить с ней из-за одного слова.

Она оставила журнал на столе, рядом со своими нотами: утром Илья обещал вернуться.

ГЛАВА 3

Две минуты

11 сентября 1927 года. Ялта. Утро

В шесть утра Илья Вересов стоял у лестницы с портфелем, в котором не было ничего, кроме записки Келлера.

Домна Павловна вытирала перила; Илья следил за её рукой, не находя причины задержаться. В доме убили профессора, но пыль на перилах продолжала появляться. Домна сердито провела тряпкой по перилам.

— Вы куда собрались? — спросила она.

— За журналом. Нина Сергеевна ждёт номер «Прибоя».

— В таком виде?

Илья оглядел себя. Рубашка измялась, на локте пиджака обнаружился светлый след извести, волосы выглядели так, будто он проиграл им спор.

— В этом виде я хожу уже несколько лет. Полагаете, пора жаловаться портному?

— Пора умыться. А потом спросить у милиции, выпускают вас или ещё считают нужным.

Она произнесла последнее с таким удовлетворением, что Илья заподозрил в ней давнюю симпатию к государственной дисциплине. Однако из кухни Домна тут же вынесла полотенце, пахнувшее мылом, и сухую лепёшку с сыром.

— Не благодарите. Тут никто с голоду умирать не собирается, пока я жива.

Последние слова она осознала не сразу. Её лицо дрогнуло. Илья взял завтрак, чтобы у женщины не возникло необходимости извиняться за привычную речь.

На террасе Орлов разговаривал с невысоким человеком в сером костюме. Тот держал под мышкой толстую папку, а на носу — пенсне, которое непрестанно съезжало. При виде Ильи Орлов прервал разговор.

— В типографию, — сообщил поэт заранее. — Там меня видели вчера вечером. Потом домой за журналом и обратно. Можете послать со мной товарища, если считаете, что стихи способны совершить побег.

— Стихи не знаю, а людей видел. — Орлов кивнул в сторону незнакомца. — Народный следователь Минин. Теперь он занимается процессуальной стороной дела. Можете рассказать, когда вернётесь, где были. Без стихов.

Минин протянул Илье сухую узкую ладонь.

— Папка ваша? — спросил он.

— Моя. Пока пустая.

— Сохраните такую аккуратность и дальше.

Ни один из служащих не улыбнулся. Илья обнаружил, что шутки приобретают дурной вкус, если публика состоит из людей, не обязанных их любить. Он спустился к калитке. По извилистой улице тянулся фургон с зеленью; со стороны порта доносились гудки. На перекрёстке торговка спорила с возчиком о цене ящика.

Илья остановился посреди дорожки: хотелось лечь на траву и проспать до вечера. Вместо этого он пошёл за журналом. Нина просила принести его, и он не собирался нарушать обещание.

◆ ◆ ◆

В музыкальном салоне пахло остывшим воском, пылью и нагретой накануне древесиной. Большое окно выходило к морю. Днём свет обнажал потёртости на медном раструбе фонографа

и блеск затёртого рычажка. Ночью эту старую машину никто не замечал: она стояла отдельно от рояля, среди чужих зонтов и нотных футляров.

Нина вспомнила, как Ратманов на предыдущем вечере назвал аппарат «профессором, которому не нужно платить жалованье». Келлер ответил, что с таким коллегой особенно опасно спорить: он способен повторять ошибку без изменения интонации.

Нина теперь избегала смотреть на раструб.

Минин пригласил двух понятых для оформления изъятия цилиндров и попросил Домну назвать, кто хранил ключ от шкафчика. Ни одной коробки ещё не открывали.

Орлов вошёл вместе с Мининым и молодым милиционером. У милиционера в руках была плоская коробка с наклеенным номером. Ещё один предмет — небольшой металлический футляр — принёс Домнин помощник, по распоряжению следователя вынуженный его из запертого шкафчика, где хранили цилиндры. Каждое действие Минин записывал. Нине показалось, что такое количество записей должно утешать; не утешало.

— Вы играли здесь вчера? — спросил Орлов.

— На рояле — да. На фонографе — нет.

— Кто пользовался?

— Ратманов. Иногда Келлер. Но вчера вечером я не видела, чтобы кто-нибудь подходил к аппарату во время чтения.

— Вчера вечером? — переспросил Минин.

— До полуночи. Я стараюсь говорить точно.

— И правильно делаете. В этом доме слово «вчера» уже полагается переводить на часы.

Рычажок передачи был отполирован десятками прикосновений. Нина стояла возле аппарата, удерживая руки за спиной; надпись на цилиндре раздражала её больше, чем пыль на рас- трубе.

— Пока не трогайте, — сказал Минин, заметив движение.

— Я и не собиралась.

— Хорошо. Сложнее всего запрещать человеку то, что он и сам собирался делать.

Орлов осмотрел коробки с цилиндрами, не касаясь восковых поверхностей. На большинстве уцелели типографские ярлыки: куплеты, комические сцены, танцы. Две коробки были подписаны от руки. На одной карандашом стояло: «А. Р. Стихи. Вариант второй». На другой — «Два голоса. Опыт». Вторую коробку открывать пока не стали: её надпись ещё ничего не говорила о содержимом.

— Эта? — спросил Орлов, показывая первую.

— Не знаю, — ответила Нина. — Чтение я слышала за дверью. Записи тогда не видела.

Минин проверил состояние цилиндра, описал его и передал аппарату только после фиксации внешних признаков. Домна, стоявшая у порога, не выдержала:

— Да что вы с ним как с младенцем? Старый он, но не больной.

— Больных мне хватает, — ответил следователь. — Тут нужно понять, что машина делала, а чего не могла.

Орлов попросил Нину объяснить устройство. Она не стала притворяться специалистом по механике.

— Я умею ставить двухминутный цилиндр и заводить пружинный механизм, — сказала она. — Если придётся разбирать передачу, ищите другого консультанта. Я музыкант, а не механик.

— Мне сейчас нужен музыкант.

Завели пружинный механизм фонографа, выбрали передачу для двухминутного цилиндра и установили соответствующую воспроизводящую головку. Орлов попросил свидетелей занять места, которые они помнили, отдельно записав неизбежные расхождения. В двери оста-

вили ту щель, о которой говорили свидетели. Нина должна была сидеть там, где накануне услышала декламацию, но отказалась считать это настоящим опытом.

— Сегодня я знаю, что слушаю машину. Вчера не знала. Это меняет всё.

— Меняет ваши ожидания, — согласился Орлов. — Потому и не будем записывать, что опыт доказывает вчерашнее восприятие. Проверим только, мог ли звук сюда дойти.

Он остался у двери. Минин дал знак милиционеру.

Из соседней комнаты донеслось шуршание, затем короткий металлический призывок. И зазвучал голос Ратманова.

— Когда морская даль уходит к берегам...

Первые слова утонули в сухом хрипе. Потом голос стал явственнее: знакомый носовой оттенок, умение задержать согласную на полудоле дольше, чем положено, особенное наслаждение собой на слове «вечность». До проверки Нина боялась услышать этот голос; теперь разозлилась. Мёртвый человек не может защитить себя, а живой голос из тёмной медной воронки продолжает кокетничать с публикой.

В середине стихотворения прозвучала короткая остановка. После неё фраза продолжилась, не взяв нового дыхания. Нина наклонилась вперёд.

— Вот, — сказала она.

Минин поднял руку, прося тишины. Цилиндр дошёл до последней строки и умолк. Из салона снова донёсся негромкий шорох механизма.

— Что «вот»? — спросил Орлов.

— Пауза. Она похожа на ту, что я запомнила вчера. И там, где он произносит «вернуться», согласная царапает слух. Вечером я решила, что он закашлялся. Здесь слышу ту же царапину. Сходство надо проверить.

— Это может быть просто его привычка?

— Привычка повторяется. Но дыхание и случайные шумы повторить гораздо труднее. Если совпадут и они, это будет важнее тембра.

— Можно проверить? — спросил Минин.

Нина посмотрела на Минина с благодарностью. Он предложил проверку — то, чего ей самой теперь не доставало.

— На этом цилиндре — да. На том, что звучало вчера, я не могу доказать, пока мы не установим, что использовали именно эту запись.

Она попросила дать ей нотную бумагу, но Орлов предложил обычный лист. Нина нарисовала там четыре короткие черты и отметила место, где звук обрывался и вновь вступал. Потом сказала:

— Вы можете попросить того, кто сидел дальше всех, рассказать, слышал ли он эти слова. Только не подсказывайте ему сначала, какие именно.

Она быстро убрала карандаш, заметив, что от напряжения сломала грифель.

◆ ◆ ◆

Ратманов вошёл после того, как Минин вернул цилиндр в коробку. Под глазами художника лежали серые тени; повязка на пальце выглядела свежее, чем ночью. Он остановился у фонографа не как хозяин, заставший чужих людей в мастерской, а как актёр, обнаруживший, что репетиция началась без него.

— Старинный приятель исправно служит, — сказал он. — Нина Сергеевна, надеюсь, у него не пропал слух.

— У машины его нет, — ответила Нина. — Она воспроизводит то, что сохранили.

— В этом есть своё достоинство.

— И недостаток, — заметил Орлов. — Когда говорили вы?

— Вчера ночью? Я уже объяснял.

— Я спрашиваю, когда сделана запись.

Ратманов подумал. Впервые за всё время после обнаружения убийства он не торопился с репликой.

— Несколько дней назад. Возможно, в четверг. Вера Андреевна просила записать кое-что для тех, кто не сможет присутствовать на чтении. Я согласился. Художник обязан идти навстречу техническому прогрессу, пока прогресс не просит уступить место.

— Кто записывал?

— Я. С помощью Долина. Вернее, он держал бумагу с текстом, а я говорил в раструб. Писали на воск, кажется. Все эти подробности мне кажутся несущественными.

— Значит, Долин знает эту запись?

— Возможно. У него бывают дни, когда он умеет помнить только собственные статьи.

Орлов не оценил шутку.

— Вчера вечером эта запись звучала?

Ратманов взялся за спинку кресла.

— Не исключаю. Салон был открыт весь вечер, гости ставили то куплеты, то романс. Но читал я сам. Это легко подтвердить.

— Кем?

— Всеми, кто слышал.

— Мы уже разговаривали об этом слове, Александр Павлович. Назовите человека, который вас видел.

Нина заметила, как художник отвёл руку от кресла. На его лице ничего не изменилось, зато жест стал медленнее, будто воздух вокруг внезапно загустел.

— Я не могу распоряжаться чужими глазами. Я попросил не входить. Мне нужна была тишина.

— Вы заходили в библиотеку после одиннадцати?

— Нет.

— Почему у вас вчера была папка для рисунков?

— Почему у музыканта бывает нотная тетрадь? Я рисую, товарищ Орлов. У меня даже есть дурная привычка приносить рисунки в места, где собираются культурные люди.

— Покажете папку?

— Как только получу возможность пройти к себе. Меня ночью не пустили в мастерскую.

— Пока не разрешено. Следовательно определит порядок осмотра.

Ратманов склонил голову. Принять отказ с внешней любезностью ему удалось, но Нина увидела, как он сжал перевязанный палец другой рукой. Это могло быть от боли. Она не стала искать в жесте второго смысла.

— Вы слушали, что я читал? — спросил он вдруг у неё.

— Да.

— И что скажете? Только как музыкант. Надеюсь, у нас ещё осталось право оценивать искусство отдельно от всяких... несчастий.

— Вы читаете красиво, — сказала Нина.

Он почти улыбнулся.

— Благодарю.

— Вы оставляете перед последней строкой паузу, — сказала Нина. — Я слышала её вчера. Теперь хочу понять, что именно мы тогда слышали.

Ратманов перестал улыбаться.

— Прекрасная мысль. Жаль, что она не имеет отношения к смерти профессора.

— Я пока тоже не знаю, имеет ли, — ответила она.

Она едва не спросила, почему он так уверен, что запись не имеет отношения к делу. Потом заметила Орлова у двери и оставила вопрос ему.

Когда он вышел, Орлов сказал:

— Что скажете?

— Если запись действительно использовали вчера, кто-то мог читать стихи, не находясь в салоне.

— Машина могла. Человек мог быть где угодно. Даже рядом с машиной. Пока мы не доказали ни одного его шага.

Нине неприятно было слышать это «пока». Она убрала карандаш, не споря.

— Я понимаю, — сказала она.

— Хорошо бы и мне всегда удавалось, — признался Орлов.

◆ ◆ ◆

Долина спросили о записи отдельно. Критик явился в кабинет с двумя исписанными листами и выразил опасение, что дело стремительно приобретает характер эстетической расправы.

— Вы держали текст перед Ратмановым, когда он записывал стихи? — спросил Минин.

— Держал, — сказал Долин. — Но я не знаю, когда именно. В четверг, кажется. Или в среду, после дождя.

— Вы слышали готовую запись?

— Слышал кусок. Александр Павлович велел мне подать лист ближе, потому что сам читал на память и опасался сбиться. Потом мне надоело, я вышел. Вы можете обвинить меня в отсутствии литературного терпения, но это ещё не уголовный состав.

— Вы видели, как цилиндр сняли с аппарата?

— Нет. Я оставил их там. Меня попросили написать заметку для вечера, а заметка сама себя не пишет, хотя редакторы охотно верят в обратное.

Минин не стал проверять последнюю часть рассуждения. Он уточнил, кто имел доступ к салону между той записью и вчерашним чтением. Долин перечислил людей, затем добавил ещё двоих, которых позабыл, и покраснел от досады: его память, как оказалось, была ничуть не лучше памяти гостей, которых он уже успел высмеять.

— Вы считаете, что голос звучал вчера с цилиндра? — спросил он, понизив голос.

— Проверяем такую возможность.

— Но Ратманов уверял, что читал сам.

— Это он нам тоже сообщил.

Долин провёл ладонью по лицу. Несколько часов назад он боялся, что смерть профессора разрушит его статью. Теперь услышал, что его собственная помощь при записи могла оказаться частью лживого свидетельства. Он сел без приглашения.

— Я совсем не хочу быть человеком, который помог кому-то убить профессора, — произнёс он. — Понимаете, я спорил с Келлером. Думал, он хочет меня унижить перед всей литературной Ялтой. А он однажды отдал мне свою комнату, когда у меня нечем было платить за жильё. Я даже не поблагодарил.

Минин подвинул к нему стакан воды. Долин не взял. Он смотрел на руки: чернила въелись в указательный палец, а ноготь был обгрызен до боли. Остроумие куда-то пропало.

— В протокол войдёт то, что вы сделали, — сказал следователь. — А о том, что не успели, придётся разговаривать с собой.

Долин кивнул. Долин посмотрел на ноготь, обкусанный до крови, и спрятал руку под стол.

◆ ◆ ◆

За журналом Илья ходил дольше, чем обещал. В типографии его встретил наборщик с красными от недосыпа глазами и спросил, верно ли, что профессора убили из-за древней песни. Илья сказал, что в городе, где человек умер несколько часов назад, слишком быстро появляется готовая историческая причина смерти.

— У нас из-за опечаток всякое бывает, — ответил наборщик. — Но до убийства пока не дошло.

Номер «Прибоя» нашёлся дома между сборником стихов, который Илья больше не мог перечитывать, и квитанцией за ремонт пишущей машинки. Окно комнаты выходило на двор, где хозяйка кормила кошек. Одна из кошек узнала поэта, потребовала завтрака и получила объяснение о тяжести человеческой жизни. Кошка выслушала и продолжила требовать.

Илья оставил ей часть лепёшки, которую бережно нёс с виллы. Стыдно стало не за кошку — за то, что эта маленькая уступка вдруг показалась ему способом спасти хотя бы кого-то.

Вернувшись к «Кипарисной», он нашёл Нину на ступеньке у галереи. Она сидела с прямой спиной и закрытыми глазами. На коленях лежала папка. Илья остановился прежде, чем его тень упала на неё.

— Я принёс обещанного свидетеля, — сказал он, показывая журнал.

Нина открыла глаза.

— Он, надеюсь, не умеет разговаривать?

— Это журнал стихов. Он как раз слишком разговорчив.

Она потянулась к номеру, но руку остановила сама собой. Илья заметил в её пальцах напряжение.

— Вы играли? — спросил он.

— Слушала.

— Что?

— Ратманова. Его запись.

Илья сел на две ступени ниже. Между ними, как и ночью, оставалось место для чемодана — теперь небольшого.

— Значит, разгадали?

— Нет. Только установили, что можно слышать человека, когда его нет рядом. И даже это не окончательный вывод о вчерашнем вечере.

— Очень утешительная мысль для литературы. Когда читают мои стихи, меня тоже почти никогда нет рядом.

Она засмеялась коротко, но без прежней лёгкости.

— А я услышала его голос и вспомнила, как он стоял над телом Келлера. Мне теперь кажется, будто эти два момента связаны. Я понимаю, что могу ошибаться, но избавиться от ощущения не получается.

— Не избавляйтесь насильно.

— Вы предлагаете доверять ощущению?

— Нет. Я предлагаю не требовать от себя, чтобы человек сразу перестал бояться, как только он научился задавать правильные вопросы.

Нина внимательно посмотрела на него. Вчера он всё обращал в шутку; сегодня произнёс фразу без попытки быть красивым. Она не знала, какая версия Ильи ей ближе.

Из столовой донеслись раздражённые голоса. Ратманов спорил с Долиным о том, кто первым предложил сделать запись. Долин возражал столь громко, что разговор, вероятно, скоро станет известен всему саду.

— Послушайте, — сказала Нина, — я хочу проверить ещё одну вещь, но не сейчас. Нужно, чтобы Долин сначала сам сказал, что помнит. И чтобы Орлов его выслушал без нашего участия.

— Умно.

— Вы удивлены?

— Тем, что я способен признать чужой ум, — вполне.

Она протянула руку за журналом. Пальцы коснулись гладкой обложки; Илья не удерживал её. Ему неожиданно хотелось заслужить доверие не удачной шуткой, а тем, что он сделал именно обещанное.

Они раскрыли номер на старой стихотворной публикации. Илья показал две строки, прочёл одну вслух, потом другую. Нина помедлила и попросила не читать ещё раз.

— Почему?

— Мне нужно услышать их в голове без вашего голоса.

Он послушно замолчал. Это было нелегко и почему-то приятно.

На дорожке появился Орлов.

— Нашли журнал?

— Да. Со словами пока всё на месте, — ответил Илья.

— Так бывает недолго. Принесите его в кабинет, снимем сведения с издания. А вы, Нина Сергеевна, не уезжайте из дома до полудня. Могут понадобиться пояснения.

— Я и не собиралась.

Орлов взглянул на обоих и пошёл дальше. Потом вернулся на шаг.

— Запомните: если вчера звучал этот цилиндр, записали его до убийства. Но ещё нужно доказать, что звучал именно он. И поставить его мог любой, кто умел обращаться с машиной. Не выбирайте убийцу по тембру голоса.

Он ушёл. Илья проводил его взглядом.

— Иногда мне кажется, что он говорит с нами как с больными детьми.

— Нет, — сказала Нина. — С больными детьми говорят нежнее.

Она поднялась, держа номер «Прибоя» обеими руками. Илья пропустил её вперёд. За дверью Орлов вызывал следующего свидетеля. Нина впервые подумала, что если запись действительно прозвучала вместо человека, это не делает самого человека исчезнувшим. Он где-то был. Что-то делал. И кому-то требовалось, чтобы все продолжали слушать голос.

Нина вернулась к столу, где лежал протокол осмотра.

ГЛАВА 4

Киммерийские вечера

11 сентября 1927 года. Ялта. Утро

Вера Соколовская обвела фамилию Келлера в списке участников чтения. Карандашный овал получился неровным; она начала его исправлять и остановилась.

Она сидела у окна бывшей курительной комнаты и переписывала адреса на карточки, чтобы не перепутать, кого нужно известить о смерти профессора. В графе «состоялось» оставалось свободное место. Кому-то предстояло сообщить артистам об отмене репетиции, отписать в городской клуб, найти родственников профессора, вернуть чужие книги. Рахиль справилась бы с частью дел лучше. Но Рахиль сейчас не позволяла никому подходить к семейным бумагам, а Вера не умела сидеть без работы, когда рядом есть чужая беда.

С утра ей передали записку: скрипачка из Симферополя заболела и не сможет приехать. Вера прочла это известие дважды. Невозможность одного концерта внезапно оказалась счастьем. Живая скрипачка могла заболеть, выздороветь, попросить перенести выступление. Келлер больше ничего не попросит.

В дверях появился Илья. Он держал журнал под мышкой.

— Вы собираетесь писать некролог? — спросил он.

— Пока нет. Сначала нужно отыскать документы. И потом, Илья, писать о человеке в день его смерти — дурная привычка. Слишком многое кажется окончательным.

— Он был замечательным учёным.

— Был. И невыносимым собеседником. Пожелаем ему сохранить оба качества там, где он теперь находится.

Она подвинула ему стул. Илья не сел: от вида стопки пригласительных карточек у него сжалось горло. Надпись «Киммерийские вечера» была отпечатана лиловой краской. Келлер всегда возражал против лиловой: считал, что на белой бумаге учёному подобает чёрная. Ратманов настоял на лиловой, поскольку художники, по его словам, отличаются от бухгалтеров прежде всего цветом чернил.

— Почему «Киммерийские»? — спросил Илья, хотя слышал ответ не раз.

— Потому что «Ялтинский кружок друзей искусства» звучит как вывеска над очередью за керосином. Потому что у Волошина есть Киммерия, а у нас — желание иногда разговаривать друг с другом, не предъявляя справку о политической благонадёжности. И потому что молодые поэты охотнее приезжают к древним грекам, чем к пожилой женщине, которая заставляет их исправлять рифмы.

Она сказала это с лёгкой иронией. Илья помнил свой первый вечер здесь четырьмя месяцами раньше: извозчик не захотел поднимать его к вилле за обещание будущего гонорара, и молодой поэт дошёл пешком, запыхавшись, с ботинками, белыми от пыли. На лестнице Вера отчитала его за стихотворение, которое он прислал, а потом пригласила к ужину. Он тогда решил, что нашёл второго учителя после собственной бедности.

— Я взял журнал у себя дома, — сказал он. — Там старый вариант вашего стихотворения. Вера протянула руку, но он не отдал номер сразу.

— Нина Сергеевна и я хотим сравнить строки. Мы не будем делать выводов прежде, чем поймём последовательность редакций.

— Вы уже говорите её словами.

— Возможно. Они удобные. В них меньше поводов для ошибочного восхищения собой.

Вера взяла журнал. На её лице промелькнуло что-то, чего Илья не умел читать: то ли гордость за ученика, то ли боль от того, что он учится у другого человека.

— Когда поэт впервые перестаёт повторять моего любимого автора, мне следовало бы радоваться, — сказала она. — Я, к сожалению, не всегда достаточно благородна.

Илья сел.

За окном шёл рабочий ялтинский день. Рабочие у дороги передавали друг другу ведра с известью. Мимо ворот прошли две женщины с корзинами, споря о цене помидоров. На нижней террасе садовник чинил подпорную стену, которую летом тронула трещина. Дом прежде принадлежал людям, для которых существование персонала было таким же естественным, как существование стен. Теперь часть комнат занимал культурный клуб, а персонала стало вдвое меньше. Зато стены всё ещё ожидали прежнего уважения.

— В молодости я верила, что литература способна изменить человеческую природу, — сказала Вера, отодвигая журнал. — Теперь пробую хотя бы отучить молодых поэтов печатать всё, что они написали до завтрака. Результаты неутешительные.

— Из-за Ратманова?

— Из-за нас всех. Он занимался рукописями потому, что у него хорошие глаза. Келлер — потому, что любил сомневаться. Я — потому, что однажды написала стихотворение и позолила ему жить чужой жизнью. Никто не думал, что дело кончится кровью.

— Что значит «чужой жизнью»?

Вера опустила взгляд на лист. Она не ответила сразу.

— Когда вы станете старше, Илья, обнаружите, что некоторые ошибки не имеют даты. Сначала кажется: вот сейчас исправлю. А потом вокруг ошибки вырастает столько чужих надежд, что любое исправление начинают принимать за предательство.

— Мне сейчас двадцать восемь. Кажется, для ошибок уже достаточно.

— Достаточно для собственных. С чужими придётся подождать.

Он не возразил. Вера поправила очки и не стала продолжать.

◆ ◆ ◆

У «Киммерийских вечеров» не было настоящего устава. Было расписание чтений, коробка с добровольными взносами, несколько забытых книг и записная тетрадь Домны Павловны, где напротив каждого гостя стояло, сколько чашек он разбил или не вернул. Эта тетрадь была самым надёжным архивом кружка: писатели охотно преувеличивали своё участие в истории, а Домна неизменно требовала возмещения за стакан.

Когда Орлов попросил предоставить историю вечеров, Домна принесла именно свою тетрадь. Следовательно некоторое время перелистывал страницы, не понимая, почему рядом с именем известного поэта написано «две тарелки, одна целая».

— Человек был невнимательный, — объяснила Домна. — Но вторую тарелку оставил в целости. Нельзя же только дурное записывать.

Орлов попросил Веру дать отдельно перечень выступавших и список лиц, имевших доступ в служебные комнаты. К нему пришёл Долин с просьбой немедленно опровергнуть слухи о связи кружка с иностранными агентами.

— Какие слухи? — спросил Орлов.

— Которые неизбежно возникнут. Смерть известного профессора на частном вечере — готовый повод.

— Тогда вы опережаете события. У нас пока и преступника нет, а у вас уже иностранные агенты.

Долин побагровел.

— Я пытаюсь сохранить репутацию людей искусства.

— Сохраните сначала собственные показания. Вы вчера вечером находились во дворе или в столовой?

— В обоих местах. Не одновременно.

— Это уже хорошо.

Вере пришлось вмешаться, пока юный критик не доказал, что чувство юмора может превратиться в уголовную улику. Она отвела его к окну и попросила пока никому не рассказывать о готовящейся зарубежной публикации.

— Значит, вы признаёте, что есть что скрывать, — заключил Долин.

— Михаил, — сказала она, — скрывать и не разбрасывать — разные вещи. Вы же не читаете вслух свой дневник на рынке.

— Я не веду дневника.

— Как жаль. Иногда полезно оставить доказательство того, что мы бываем умнее собственных статей.

Он собирался ответить резко, но увидел в её глазах настоящую усталость и промолчал.

На стене висели фотографии прежних встреч. В середине одной — Ратманов в распахнутой рубашке, окружённый студентами. На снимке он держал за плечо худенького студента, улыбавшегося так широко, будто ему только что вернули возможность учиться. На другой фотографии стояла женщина со скрипкой, которой кружок собирал деньги на лечение. Письмо о помощи хранилось в той же папке, что и расписание репетиций. Художник сам нашёл врача, оплатил дорогу и послал на станцию человека встретить её семью.

Когда Илья увидел это письмо, привычная версия Ратманова как самовлюблённого фальсификатора показалась недостаточной. Он вспомнил, как тот прошлой весной перенёс на руках тяжёлый ящик с рояльными нотами, чтобы Рахиль не надорвала спину, хотя мог попросить садовника. Добрые поступки оставались добрыми, даже если их совершил подозреваемый. Именно поэтому от подозрения делалось мучительнее.

Вера застала Домну у шкафа с чужими шарфами. Женщина перебирала их с видом кладовщика, которому велели описать имущество затонувшего корабля.

— Этот Ратманов привёз прошлой зимой, — говорила Домна. — Этот Долин забыл. А вон тот, серый, принадлежал покойному. Вернее, принадлежит. Не знаю, как теперь говорить.

Вера взяла шарф Келлера. Он был из грубой шерсти и пах табаком, хотя профессор всякий раз обещал бросить курить. На бахrome запуталась нитка. Вера разглядела её и поняла, что сейчас заплачет от этой совершенно незначительной детали.

— Оставьте на месте, — попросила она.

— Хотела проветрить.

— Потом.

Домна молча вернула шарф. Вере вдруг захотелось объяснить, почему она говорит так резко: просто страшно, что кто-то начнёт аккуратно убирать вещь за вещь, пока от Вениамина Сергеевича не останется ничего, кроме даты. Но Домна не требовала объяснений. Она и сама знала.

— Он вчера просил испечь пирог с яблоками, — сказала она. — Говорил, утром будет разговор длинный, пригодится. Я ещё подумала: наконец-то учёные хотят заняться чем-то съедобным.

Вера закрыла шкаф.

— Испеките.

— Для кого?

— Для нас. Для тех, кому придётся дальше с ним спорить, хотя его уже нет.

Домна посмотрела на неё исподлобья.

— Учёных за столом кормить не страшно. Страшно, когда они после еды начинают думать, что всё им позволено.

Вера не ответила. У дверей хотела что-то добавить, но Домна уже несла на кухню посуду.

◆ ◆ ◆

Спор о Фирковиче состоялся в августе, когда Келлер был ещё жив и полагал, что всякую неточность можно исправить карандашом.

О нём напомнила Рахиль. Она вошла в бывшую курительную комнату с тонкой серой папкой и застала Веру, Илью и Орлова над списком участников. Следователь попросил рассказать, когда впервые возникли сомнения в происхождении семейных рукописей.

— Не сомнения, — поправила она. — Разногласия в том, что называть доказательством. Сомневались все, даже Келлер. Только некоторые об этом забывали, когда подписывали заключение.

— Кто?

Рахиль посмотрела на Веру. Та спокойно выдержала взгляд, но её рука на столе заметно сжалась.

— Александр Павлович уверял, что можно восстановить старую историю вещи по поздней записи, если реконструкция согласуется с преданием. Профессор возражал: поздняя запись рассказывает прежде всего о времени, когда её сделали.

— В связи с Фирковичем? — спросил Илья.

— Да. Они спорили о старых коллекциях и о том, что можно и чего нельзя заключать из надписей. Келлер никогда не говорил, будто всё у Фирковича поддельное. Он говорил: лист может быть старым и подлинным, а приписанная ему дата — ошибочной. И от этого лист не становится менее ценным.

Вера подняла глаза.

— Вы помните и его слова?

— Помню собственный страх. У меня были на столе бумаги семьи, а мужчина, которого я уважала, рассказывал, что учёные способны ради благой цели поправить их историю. Я спросила, что позволил. Он засмеялся.

— Кто засмеялся? — уточнил Орлов.

— Ратманов.

— Что ответил?

— Что потомки будут благодарны, если вещь станет значительнее. Келлер сказал: потомки имеют право не быть обманутыми. После этого мужчины поссорились, как ссорятся мужчины, когда оба уверены, что объясняют женщине историю её собственной семьи.

Илья невольно улыбнулся. Рахиль заметила и тоже улыбнулась, но сразу посерьёзнела.

— Тогда это казалось всего лишь тяжёлым разговором. Теперь я боюсь, что кто-нибудь отнесётся к нему как к признанию. Нельзя ставить человеку в вину то, что он однажды сказал глупость за обедом.

Орлов кивнул.

— Для убийства этого мало. А кто хранил оригинальную семейную тетрадь?

— Она была у меня. В библиотеку профессор приносил копии и несколько отдельных листов, которые я разрешала смотреть при мне. Два раза. Под конец он работал с экземпляром, переписанным для кружка. Хотел проверить, почему тексты расходятся.

— Следовательно, вопрос об оригинале пока открыт, — сказал Орлов.

— Он открыт для разговора. Не для выемки без разбора.

— Будем разбирать.

Рахиль слегка выпрямилась. Ей редко обещали такое не как одолжение, а как порядок работы.

Илья вспомнил, как Нина ночью отказалась переписывать с предметов, изъятых следствием. Тогда эта осторожность казалась мучительной. Теперь он понял: если потерять сведения о том, из чьих рук к кому переходила бумага, даже подлинный документ можно заставить говорить неправду.

Он хотел сообщить это Нине, но удержался. Она уже знала.



Кирилл Данилович Юдин не любил выступать перед публикой. Торговый разговор с одним собеседником он считал честнее речи для десяти. Но к середине утра в кабинете Веры собрались именно десять человек: участники кружка, служащие, люди из соседнего культурного учреждения и двое, явившиеся узнать, состоится ли запланированный концерт.

Юдин потребовал оставить вопрос поездки до вечера. Вера ответила, что ожидать вечера больше нельзя: люди уже приезжают за обещанными бумагами.

— Какими обещанными? — раздражённо спросил предприниматель. — У нас есть переписка о местах на международном рейсе, но у половины желающих нет ещё необходимых выездных документов. Нельзя продавать надежду по цене билета.

— Никто не продаёт, Кирилл Данилович. Мы помогаем тем, кому трудно выбраться из круга знакомых стен.

— Прекрасно сказано. Только на пристани такую фразу не примут вместо паспорта.

На словах «на пристани» Долин поднял голову. Ему хотелось знать, обсуждают ли отъезд всерьёз. Несколько человек переглянулись: они надеялись уехать учиться или работать и до сих пор боялись произнести это вслух. Илья вспомнил Нину, которая говорила о другом берегу моря, не называя места. Её имя было где-то в этих списках — или только в обещаниях.

— Сначала речь шла об издании, — напомнил Юдин. — О музыке, которую можно представить за границей, о людях, которые её исполнят, о книге с научным предисловием. Я дал средства на подготовку. А теперь профессор убит, и оказывается, что происхождение музыки спорное. Мне придётся спросить, какой именно труд оплачивают моими деньгами.

Вера отодвинула чашку.

— Вы говорите так, будто можете измерить искусство аршином.

— Аршином нет. Квитанцией — иногда. Я всю жизнь торгую вещами, и это научило меня неприятной мысли: благородная цель не отменяет счёта.

Из соседнего коридора слышался голос Нины. Она объясняла Домне, почему не станет играть на рояле, пока следователь не разрешит пользоваться комнатой. Илья на мгновение перестал слышать доводы Веры. Нина говорила за стеной, и он без всякой причины различал каждое её слово.

— Кирилл Данилович, — сказал он, — вы хотите свернуть помощь людям из-за сомнительного научного описания?

— Нет. Я хочу знать, кто решил, что эти вещи одно и то же. Если на концертные деньги выписаны билеты, покажите билеты. Если оплачен научный труд, покажите работу. А если ещё ничего нет, не уверяйте девочку-пианистку, будто её завтра ждёт целый мир.

Илья почувствовал, как похолодело лицо. Он не ожидал, что Юдин упомянет Нину с такой сухой заботой. Человек, которого он мысленно записал в грубоватые спонсоры, оказался внимательнее многих поэтов.

Вера дала участникам разойтись. Потом задержала Илью.

— Я могу устроить вашу первую настоящую публикацию, — сказала она неожиданно. — В Москве. Уже разговаривала с редактором. Но сейчас мне важнее знать, будете ли вы осторожны.

Он посмотрел на неё.

— Осторожны с чем?

— С обвинениями. Вы молоды, вам легче произнести вслух то, из-за чего потом другим приходится жить в разрушенном доме.

— Я не собираюсь никого обвинять без доказательств.

— Тогда почему вы всё утро ходите с Ниной и чужими стихами, словно уже знаете, кто прав?

— Потому что Келлер хотел разобраться. И потому что он не может закончить начатое.

Вера отвернулась к окну. Там, за садом, море слепило глаза. В молодости она называла такую синеву вечностью. Сейчас ей хотелось назвать её расстоянием.

— Если вы будете настаивать, — сказала она тихо, — пострадают люди, которые никакого отношения к убийству не имеют.

— Если я промолчу, — ответил Илья, — я тоже могу им повредить.

Она медленно обернулась.

— Не превращайте осторожность в красивый подвиг, Илья. Красивые подвиги обходятся дорого тем, кто их не совершал.

Он хотел сказать, что ничем ещё не пожертвовал. Это было бы правдой. Но уже знал: раньше он соглашался с Верой без вопроса и называл такую покорность благодарностью.

У двери он остановился.

— Я принесу вам журнал, когда Минин снимет с него сведения. Вы сможете посмотреть две редакции.

— Я их знаю, — ответила Вера.

Она сказала это негромко, почти беззащитно.

Илья постоял у двери. Вера придвинула к себе карточку со следующим адресом. Он ждал ещё несколько секунд, затем вышел. Вера так и не подняла глаз от стола.

ГЛАВА 5

Балта-Тиймез

11 сентября 1927 года. Ялта. Позднее утро

В детстве Рахиль умела по звуку шагов определять, можно ли войти в гостиную. Если за дверью играла Мирьям — лучше подождать; если разговаривали взрослые — тем более.

Рахиль привыкла к обеим. С утра гости замолкали, едва она входила. Рахиль уже знала, что они обсуждали.

Она стояла возле шкафа в маленькой комнате за галереей. Шкаф когда-то сделали для отцовских дорожных альбомов. Теперь там хранились семейные бумаги — те, которые удалось сохранить за десять лет перемен и переселений. На инвентарной табличке шкаф значился за другим учреждением: на инвентарной бирке стоял номер культурного учреждения. Рахиль знала его наизусть и всякий раз всё равно читала, словно надеялась увидеть там фамилию отца.

Ключ, гладкий у бородки, лежал в ладони. Перед дверью дежурил молодой милиционер. Его поставили не охранять Рахиль от самой себя, а следить, чтобы вещи не перемещали без записи. Он поглядывал на ключ с любопытством человека, который не хочет обидеть хозяйку и не знает, как начать разговор.

— Здесь только тетради, — сказала она.

— Я и не думал ничего дурного, гражданка Бахарах.

— Тогда вам повезло. Я сегодня много чего дурного думаю.

Он покраснел. Рахиль сразу пожалела о своей резкости. Перед ней стоял мальчик, уставший сильнее, чем показывал, и вовсе не ответственный за потерю дома.

— В кухне есть чай, — сказала она. — Если Орлов разрешит, Домна принесёт вам чашку. Не нужно уходить с поста.

Милиционер улыбнулся так благодарно, что стало ещё стыднее.

Рахиль повернула ключ. Внутри стояли картонные коробки, небольшой деревянный ларец, сшитые неровными стежками тетради. На верхней полке лежал отцовский саквояж с одним сломанным замком; никто не мог решить, заслуживает ли он музейного статуса. Отец привозил в нём книги из поездок по Крыму, а однажды — полдюжины детских апельсинов, которые мать приняла за редкую лекарственную породу и спрятала от детей в буфет. Вспоминать об этом было нелепо и больно. Рахиль закрыла глаза на несколько секунд, потом вытащила только одну тонкую тетрадь.

Это была не старейшая семейная запись и не самая дорогая. На картонной обложке виднелось пятно от чернил. Внутри — хозяйственные счета, два кратких письма, перечень гостей прежних музыкальных вечеров и несколько страниц песенного текста, переписанного рукой, которую Рахиль узнавала. Её материнская тётка писала крупно и любила оставлять слишком много места между словами. Когда Рахиль была ребёнком, тётка говорила: бумаге тоже нужно дышать.

— Вот кто умел устраивать себе простор, — пробормотала Рахиль.

— Простите? — спросил милиционер.

— Это я не вам. Это я с мёртвыми родственниками разговариваю. У нас семейная привычка.

Она закрыла шкаф и позвала Орлова.

◆ ◆ ◆

Следователь Минин предложил перенести тетрадь в кабинет и описать её при свидетелях. Рахиль накрыла тетрадь ладонью. Нина, вошедшая с чайником, остановилась: голос хозяйки оставался спокойным, но пальцы побелели.

— Вы можете осмотреть её здесь, — сказала Рахиль. — Вынести, если будет действительно нужно для дела, тоже сможете, оформив необходимые бумаги. Но сначала объясните, что именно ищете.

— Мы устанавливаем происхождение документов, с которыми работал погибший, — ответил Минин. — Хотим понять, что ему предоставляли и когда. Если ваши бумаги не относятся к исследуемому вопросу, забирать их не понадобится.

— А если относятся?

— Тогда составим описание. Вы сможете делать замечания и указывать на ошибки.

Орлов молча наблюдал за ними. Он ещё ночью понял, что с Рахиль бесполезно разговаривать покровительственно: вместо согласия получишь аккуратный перечень собственных неточностей.

— Я принесла чай, — сообщила Нина. — Не знаю, кто здесь главный, поэтому поставлю поближе к двери.

— Главная у нас Домна, — сказал Орлов. — Мы пока стараемся не мешать.

Рахиль улыбнулась по-настоящему.

— Хорошо. Тогда начнём с того, что вы не будете брать тетрадь за углы мокрыми пальцами.

Минин взглянул на свои руки. Он только что мыл их и тщательно вытер, но возражать не стал.

Они раскрыли тетрадь на чистой скатерти. На первом листе значилась фамилия матери Рахили, дальше шли записи, сделанные в разное время. Точная дата переплёта не была очевидна: листы отличались оттенком, некоторые оказались вставлены позднее. Следователь отметил это отдельно.

— Меня интересуют не только слова, — сказал он. — Важно, когда и кем лист мог быть добавлен. Вы знаете историю тетради?

— Часть знаю. Остальное могу проверить по семейным письмам. Только не заставляйте меня изображать уверенность там, где её нет.

— Мне это подходит.

Нина наклонилась к странице. Она увидела строчки песни, записанные без нот; кое-где над словами стояли условные значки, вероятно подсказывавшие певице момент вступления. Не было ни подписи древнего автора, ни торжественной даты основания мира. Просто слова, которые кто-то хотел сохранить.

— Это та песня? — спросила она.

— Это одна из песен, которые пели в нашей семье. Если кто-то скажет вам, что из неё получилась вся музыка Мирьям, попросите доказать.

Минин поднял голову.

— Мирьям?

— Моя старшая родственница. Музыкой занималась. Потом расскажу. Сейчас я не хочу, чтобы её имя попало в протокол вместе с чужими предположениями.

— В протокол попадает то, что вы сообщаете, и в той мере, в какой относится к делу, — ответил следователь. — Если для вас это воспоминание, так и отметим.

Минин записал в протокол: «Тетрадь принадлежала семье издавна». Рахиль попросила вычеркнуть последнее слово: она могла свидетельствовать лишь о том, что тетрадь была у её матери. Следователь исправил запись и прочитал её вслух. Только после этого Рахиль разжала пальцы на краю скатерти.

Нина попросила разрешения рассмотреть страницу внимательнее. Рахиль подвинула ска-терть ближе к окну. Музыкант увидела пометы о повторях, но не стала читать их как закон-ченную партитуру.

— Песня может существовать без одного окончательного варианта, — сказала Нина. — Люди меняют мелодию, когда поют в разном возрасте. На празднике — одно, возле детской кровати — другое.

— Вот, — ответила Рахиль. — Поэтому я не люблю, когда мне приносят великолепно переплетённую книжку и сообщают: здесь, наконец, написано, как моя бабушка должна была петь.

Орлов невольно кашлянул, пряча улыбку.

— Ваш профессор это понимал? — спросила Нина.

Рахиль посмотрела на открытую тетрадь.

— К концу своей жизни — кажется, да. Он любил правильные доказательства. Иногда это означало, что он долго не мог расстаться с неправильными.

◆ ◆ ◆

Когда тетрадь описали, Рахиль попросила оставить её в комнате до решения следователя о дальнейшей работе. Минин согласился после того, как составил отметку о хранении и опре-делил, кому разрешён доступ. Ей не понравилось, что теперь для входа к собственным семей-ным бумагам нужно будет приглашать служащего. Но она понимала, что так же не понравилось бы ей увидеть однажды пустой шкаф и услышать, будто кто-то «взял на время».

Нина помогла ей убрать чайник. Они вышли в сад. Известковая дорожка уже нагрелась, а на скамье под кипарисом ещё лежала ночная сырость.

— Вы ведь не обязаны были приходить, — сказала Рахиль.

— Я хотела увидеть вас.

— Зачем?

— Не знаю. Наверное, потому, что ночью мы обе смотрели на одного мёртвого человека и не нашли подходящих слов.

Рахиль остановилась у низкой стены, по которой спускался плющ. На старом камне вид-нелась тонкая трещина. Домнин садовник уже пытался замазать её известью, но новая белая полоса выглядела слишком свежо на серой стене.

— Здесь после июня всё собирались чинить, — сказала Рахиль. — У нас есть список работ. Он длиннее списка гостей.

— Опасно?

— Не знаю. Домна уверяет, что опасно всё, к чему мужчина приходит с лестницей и молотком. Пока ей чаще удавалось оказаться правой.

Они сели под кипарисом. Море внизу сияло, на дороге кто-то ругался с возчиком, и оттого сад выглядел обыкновенным. Рахиль взяла с колен веточку, обломила сухой конец и вдруг заговорила о далёком кладбище в долине у Чуфут-Кале.

— Балта-Тиймез, — произнесла она. — В семье переводили по-разному. Мне говорили: место, где топор не коснётся дерева. Это не судебная запись и не доказательство, что там нико-гда ничего не рубили. Это запрет, который люди передавали детям.

Нина посмотрела на неё.

— Вы бывали там?

— В детстве. Меня больше занимали жуки и холод под деревьями. Взрослые говорили вполголоса, будто покойники могли обидеться на громкий смех. Отец однажды рассердился: я сорвала веточку с земли и хотела бросить в товарищей. Он велел положить обратно.

— Из-за священных деревьев?

— Может быть. Но он сказал другое: «Не превращай чужую память в игрушку». Мне тогда показалось, что он придумывает красивую фразу, чтобы я перестала безобразничать.

Знаете, какой бывает отец, если любит слова. Сейчас я повторяю её не потому, что она красивая.

Нина представила маленькую Рахиль среди старых камней — девочку с сучком в руке, ещё не знавшую ни национализации дома, ни страха за тетради. И подумала о собственной матери, которая перед первым московским выступлением заштопала ей концертное платье невидимыми стежками. Нина тогда отчитала мать за старомодную бережливость и лишь в поезде поняла, сколько часов та просидела над платьем. Воспоминание укололо больнее, чем ей хотелось.

— Вы всё это удержали в памяти, — сказала Нина.

— Не всё. Я помню запрет и отцовский голос. А вот какой именно могильный камень мы проходили, не скажу. Многие сейчас хотят, чтобы я помнила точные даты. Иногда я даже сама хочу. От этого они не появляются.

— От вас требуют доказать, что вы имеете право хранить семейные бумаги?

— Постоянно. Когда-то фамилии на вещи было достаточно. Теперь нужны подписи, описи, печати. Отчасти это правильно: моим прадедам тоже случалось ошибаться насчёт чужой собственности. Только трудно привыкнуть, что у живого человека всякий раз спрашивают разрешение помнить своих мёртвых.

— Я всё время думаю о Мирьям, — призналась Нина.

— Почему?

— Она писала музыку. А на копии, которую дали мне для исполнения, нет её имени. Будто кто-то счёл, что произведение от этого станет значительнее.

Рахиль некоторое время молчала.

— Вы знаете, когда певице проще всего исчезнуть? — спросила она наконец. — Когда о ней говорят, что она прекрасно исполнила чужую песню. И при этом никто не интересуется, что она добавила сама.

— Мирьям была певицей?

— И играла. Не заставляйте меня сейчас перечислять способности. Я расскажу по документам, иначе сделаю с ней именно то, чего боюсь: превращу человека в семейную легенду.

Нина кивнула и отодвинула стул, освобождая Рахили проход к шкафу.

◆ ◆ ◆

У ворот показался Ратманов. Его сопровождал милиционер, разрешивший ему короткую прогулку по дорожке перед домом. Художник шёл медленно, как будто прогуливался между чужими садами и оценивал, где лучше поставить мольберт. Завидев женщин, он поднял незабинтованную руку.

— Рахиль Соломоновна, как удачно. Я искал вас, но мне объяснили, что ваши комнаты сегодня превращены в крепость.

— Туда не пускают без записи, — ответила Рахиль.

— Я и не прошусь внутрь. Мне нужно ваше слово: вы не позволите милейшему Орлову смешать семейную тетрадь с моими бумагами. У него выдающийся дар усмотреть преступление там, где художник просто не навёл порядок.

— Моя тетрадь описана отдельно.

— Прекрасно. Тогда я спокоен. А можно узнать, где хранится копия, по которой работал Келлер? У меня завтра назначен разговор об издании. Следствие, боюсь, не оценит художественные сроки.

— Копия приобщена к материалам, которые рассматривает следователь. Спросите у него.

Ратманов склонил голову, но не ушёл.

— Когда-то мы понимали друг друга легче, — произнёс он. — Я ведь помогал перевозить книги вашего отца, когда их собирались отправить в общий фонд. Помните? Несколько ящиков

могли просто погибнуть под дождём. Я нашёл грузчиков, накрыл брезентом. Зачем же теперь говорить со мной как с посторонним?

Рахиль помнила. На мокрой дороге возле дома он действительно стоял тогда без шляпы и ругался с возчиком, пока книги не погрузили под укрытие. Она была ему благодарна. Благодарность, однако, не превращала каждый следующий его вопрос в безусловное право.

— Помню, — сказала она. — И никогда не говорила, что это пустяк. Но спасённые книги не дают вам права решать, какие страницы из них можно изменить.

Ратманов посмотрел на Нину. Та сидела неподвижно.

— Как быстро меняется значение человеческого поступка, — сказал он. — Вчера это была помощь, сегодня — обстоятельство дела. Завтра окажется, что и доброта подозрительна.

— Нет, Александр Павлович. Помощь останется помощью. Просто я хочу знать правду о бумагах.

Его лицо на секунду утратило привычную завершённость. Нина подумала: вот человек, которому действительно больно услышать отказ. И тут же поправила себя: от боли нельзя заключить, прав он или виноват.

— Хорошо, — сказал Ратманов. — Пусть будет по-вашему.

Он пошёл обратно к дому. Милиционер последовал за ним, неловко стараясь держаться на два шага позади. Когда они скрылись, Рахиль медленно разжала руки. На ладони остался след от сжатой веточки.

— Он вам помогал, — сказала Нина.

— Помогал.

— И теперь вы ему не доверяете?

— Я ему не доверяю в том, в чём он предлагает поверить на слово. Это разные вещи.

◆ ◆ ◆

К полудню Орлов вернулся к тетради. Он попросил Рахиль рассказать о том, как в доме хранили рукописи до появления Келлера, и кто имел право делать копии. Она принесла небольшую ведомость — не старинную, написанную ею пять лет назад при очередном перемещении семейных вещей. Там перечислялись коробки, обложки, недостающие страницы, чужие печати на некоторых листах. Орлов придвинул ведомость к свету. В графе «утрачено» Рахиль указывала не общие слова, а даты, размеры, переплёты и имена тех, кому передавала вещи. Он попросил снять копию.

— Почему вы начали эту опись? — спросил он.

— Потому что однажды у меня попросили вещь, которую я уже отдала три года прежде. Мне было нечем доказать, что её больше нет у меня. С тех пор я записываю даже сломанные замки.

— У вас остались записи о том, кому давали копии?

— Некоторые. Келлер всегда расписывался. Долин брал отдельно один лист для статьи. Ратманов получал снимки и переписи по согласованию с Верой. Оригинальную тетрадь я никому не отдавала на длительное хранение.

— Это будем проверять, — сказал Орлов.

— Разумеется. Я не требую верить мне из вежливости.

Илья, который принёс для сравнения номер журнала, слышал последние слова. Он подумал о Вере Андреевне. Та просила верить ей именно из благодарности. Он сам делал это много раз, даже когда не знал, за что именно отвечает её уверенность.

Минин сообщил, что пока достаточно снять описания и предоставить имевшиеся документы для сверки. О вывозе всего архива речь не шла. Рахиль опустила плечи. Архив оставался под проверкой, но хотя бы сегодняшним днём она могла распоряжаться без чужого приказа.

На выходе Орлов задержал Илью.

— Вы принесли номер, хорошо. Но с настоящим архивом без Рахили больше не работайте. Даже из самых лучших побуждений.

— Мы не работали. Только с копиями.

— Тем лучше. Тогда у меня хотя бы одно дело, в котором люди не успели всё усложнить.

Илья невольно усмехнулся.

Рахиль стояла возле шкафа. Увидев, что следователи уходят, она снова повернула ключ — осторожно, не спеша. Нина подошла и остановилась на некотором расстоянии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.